



И. Родин
Дом на задворках
вселенной

Игорь Родин

Дом на задворках вселенной

«Автор»

2014

УДК 82-3
ББК 84(4Рос)

Родин И. О.

Дом на задворках вселенной / И. О. Родин — «Автор», 2014

ISBN 978-5-4458-5134-9

Произведение, написанное в традициях не только русского, но и мирового психологического романа, захватывает внимание читателя с первых страниц и не отпускает до самого конца. В сети его уже прочитало более десяти тысяч человек. Роман произвел настоящий фурор среди читающей публики, стал призером нескольких литературных конкурсов. Основная тема – это становление мировоззрения, поиск своего места в мире представителей нового, молодого поколения.

УДК 82-3
ББК 84(4Рос)

ISBN 978-5-4458-5134-9

© Родин И. О., 2014
© Автор, 2014

Содержание

1	6
2	13
3	17
Конец ознакомительного фрагмента.	36

И. О. Родин
Дом на задворках вселенной
Роман

© И. О. Родин, 2014

*Путь, о котором можно поведать,
То не Предвечный Путь;
Имя, которое можно восславить,
То не Предвечное Имя...*

Лао-Цзы

*Искусный мастер не оставляет следов.
Кю дзо си*

1

Сегодня самый обыкновенный день. Среда. Хотя то, что сегодня среда, само по себе еще ни о чем не говорит. Как и то, что вчера был вторник. Все это очень условно: дни ничем друг от друга не отличаются, как и завтра ничем не будет отличаться от сегодня, хотя, может быть, завтра я и буду в это время думать о чем-то другом. Об отношении материи к разуму, о бесконечности Вселенной, смысле жизни, или о том, носит ли лифчик новая медсестра. Это решительно не имеет никакого значения, о чем я буду думать. Просто здесь я много думаю.

А сегодня самый обыкновенный день. Так что если начинать повествование классически, то вполне можно написать: «Был самый обыкновенный день, один из тех, которые принято называть „будни“...», или: «Это был самый что ни на есть заурядный день, который только тем и запомнился, что ничем не выделялся из общей массы дней, серых и однообразных, а если и был примечателен, то только тем, что не внес абсолютно ни во что никаких изменений...» Затем обязательно бы следовало придумать для читателей какой-нибудь неожиданный ход – и дело, как говорится, в шляпе.

Кстати, чего не могу терпеть, так это писать классически. Поэтому буду это делать как придется: то есть о чем буду думать, о том и напишу. Это, конечно, вовсе не значит, что у меня нет никакого плана. Есть, а то с чего бы мне вообще затевать всю эту канитель. Просто не буду себя заранее сковывать какими-либо рамками, мало ли какие мысли неожиданно по ходу дела возникнут. Одно лишь могу обещать твердо: постараюсь последовательно и честно описывать события, к которым имел непосредственное отношение, а уж какой вывод из них сделать, пусть каждый решает для себя сам.

Итак, сегодня самый обыкновенный день. И это-то странно. Дело в том, что у меня сегодня день рождения. Но кроме меня об этом никто не знает. И не узнает, потому что я этого не хочу. Уверен, что от всех этих неловких, вымученных поздравлений, причем совершенно чужих мне людей, я вряд ли приобрету нечто ценное. Да и вообще, не понятно, для чего в такой день люди обычно тратят уйму сил и времени на соблюдение абсолютно ненужных условностей, в то время как гораздо логичнее было бы подводить итоги очередного прожитого года в одиночестве, наедине с самим собой. Шум не дает возможности сосредоточиться. Хотя, может именно для этого люди и затевают все эти «мероприятия» – просто чтобы не думать о главном.

С утра было пасмурно, и от окна, к которому я не помню зачем подошел, несло холодом. Некоторое время я смотрел на запущенный грязный двор, на растопыренные ветви деревьев с набрякшими на них почками и забор, тянущийся за палисадником.

Оторвавшись наконец от окна, я застелил койку. Затем почистил зубы и умылся в раковине, которая находилась здесь же, в комнате. Как только я включил воду, по отдающей желтизной поверхности резво побежали два таракана. Вчера приходили какие-то типы и говорили, что будут их морить, впрочем, не уточнив, когда именно.

Кончив умываться, я согрел себе чаю и выпил два стакана. Чай был старый и едва заметно отдавал кислотой, а заварить новый мне было лень. Потом я сел на стул у окна и закурил. Вообще-то курить не разрешалось и из-за этого у меня могли быть неприятности. Меня уже два раза предупреждали. А, в общем, какие там неприятности! Основная неприятность состоит в том, что я здесь. Хотя я почти привык. Ко всему рано или поздно привыкаешь.

Я уже говорил, что я здесь часто размышляю над разными вещами. Философствую. Времени хватает. Поэтому мысли мои носят в большинстве абстрактный характер, общий. Правда, после того, что произошло и что я как раз хочу описать, мысли мои находятся все еще в несколько беспорядочном состоянии.

Через час пришла медсестра и опять выговаривала мне, что в плате курить не положено. Злая. Наверное, старая дева. Халат нараспашку, а на кофте вырез чуть ли не до пупа. Лифчик

носит и, как мне показалось, даже в него что-то подкладывает. Сказала, что выпишут через неделю. Врет. Просто хочет показать, что много знает, а сама дура душой: путает седуксен и тазепам. «Главное, – как заметил парень из соседней палаты (по-моему, он финансист), – чтобы она однажды не спутала депозитарий и суппозиторий». Весельчак. Его тут все обожают.

Вначале я хотел намекнуть медсестре, что у меня день рождения, но потом раздумал. Пусть катится по своим делам.

Через несколько минут она ушла. Я снова подошел к окну и раскурил затушенный было бычок.

Нет, все-таки наверняка так много курить вредно. Сколько раз бросал – все впустую. Наверное, я слабовольный. Мне вспомнился хрипящий астматический кашель нашего соседа с нижнего этажа. Сколько помню, все время видел его курящим на лестничной клетке, как если бы он там обитал.

Солнце тем временем выглянуло из-за туч и начало пригревать. Скоро оно окончательно вылезло и расплылось в небе, напоминая промокашку, желтым бесформенным пятном. Будто на салфетку пролили мандариновый сок. Этаким масляный блин, лоснящаяся толстая харя, от которой по стеклу расходятся круги, как на картинах Ван Гога.

Недавно мне тут один тип говорил, что все на земле происходит от разных изменений на солнце, то есть что мы всего лишь одно из проявлений его активности. Войны, болезни, даже спортивные рекорды – все делается на солнце. Вспышками, протуберанцами, пятнами разными – ну и все в таком роде. Вот, может, и сейчас там что-нибудь такое вспыхнуло, и я поэтому сижу на подоконнике и курю. Я-то, конечно, думаю, что это я сам, а на самом деле это там, на солнце, температура в десять миллионов градусов. Может быть. Хотя не все ли мне равно, сам я курю или нет? Достаточно того, что я думаю, будто сам.

На завтрак я не пошел: есть не хотелось. Сосед мой по палате, пожав плечами, ушел трапезничать, прихватив с собой приемник. Вообще-то это соседство доставляет мне не слишком много неприятностей. Хотя было бы еще лучше, если бы он не приставал ко мне с разговорами о футболе и не храпел ночью, как боров.

Надо признать, здесь довольно сильная акустика, и по ночам я даже слышу, как кто-то стонет в женском отделении. А когда медсестра начинает делать обход, я слышу приближение шагов издали. Они далекие и гулкие, эти шаги. И когда я слышу приближение этих отрывистых чередующихся звуков, мне почему-то становится страшно. Умом я, конечно, понимаю, что все это глупо, но внутренне не могу отделаться от впечатления, что на пороге вот-вот должно появиться что-то неожиданное и ни на что не похожее – какой-нибудь монстр, инопланетянин или что-нибудь в этом роде. И тогда я прячу книгу и фонарь и жду. Шаги становятся громче, и меня постепенно все больше захватывает странное чувство: какой-то восторг, трепет, перемешанный со страхом и сознанием собственного бессилия перед этими приближающимися шагами. Потом появляется медсестра, и все проходит.

Я об этом сдуру рассказал соседу по палате. Он только ухмыльнулся и посоветовал обратиться мне к психиатру, на что я его в ответ обозвал козлом. Чуть не подрались. Он кричал, что я сопляк и что он мне еще покажет. Короче, ничего хорошего не вышло, один скандал. А может, он и прав, что у меня нервы не в порядке.

Я еще немного постоял у окна, а потом сел писать письмо. Приблизительно через полчаса сосед снова заглянул в палату, чему-то усмехнулся (вот тоже гнусная манера), увидев меня с разложенными листками, и укатил восвояси на своих кавалерийских растопырках. Не иначе в фойе – футбол смотреть.

Письмо не шло.

Отчего-то вспомнилось, как вчера в одной из палат умерла старуха, и я видел, как ее вывозили на тележке в «холодильник». Какой-то подросток помогал санитару перевозить тележку и улыбался, чтобы показать, что он не боится покойников. Старуха была накрыта про-

стыней, ткань плотно облегла тело, и можно было различить огромный, раздувшийся, словно от водянки, живот и худые, непропорционально маленькие ноги. Простыня была короткая, и голова, не закрытая ею, расслабленно болталась от покачиваний тележки. В коридор вышел народ посмотреть. Я вначале тоже стоял, но после ушел в палату. Что-то неприятное было во всем этом.

Примерно через час я все же разделался с письмом и, запечатав конверт, положил его на тумбочку, чтобы потом не забыть отправить. Выкурив последнюю сигарету, я его порвал. Пусть уж лучше все остается как есть. И движется своим чередом.

Хорошо, что удалось уговорить врачей ничего не сообщать предкам. Врачи должны делом заниматься, а не корреспонденцию развозить. К тому же предков моих это, прямо скажем, мало касается. Из университета меня, наверное, теперь вышибут, а им знать об этом совсем не обязательно. Да и, думаю, им это будет не очень-то интересно. Конечно, они приедут и все такое, будут разыгрывать любящих родителей, потому что положено, хотя это, если разобраться, никому не нужно – ни им, ни тем более мне. Пусть гуляют себе под ручку где-нибудь по Монмартру или где они там. Я уже давно привык обходиться.

Своего родного папашу я не помню, да, откровенно говоря, мало жалею об этом. Хотя сказать «совсем не помню» будет неверно. Отдельные моменты всплывают в памяти, но они очень незначительны и слишком отрывочны для того, чтобы я мог по ним составить какую-либо определенную картину. К тому же на них впоследствии наслоилось столько всего, что они померкли и стали гораздо менее отчетливы.

Почему-то хорошо запомнил, как вместе с родителями покупали телевизор. Отец вез его в моей бывшей коляске домой, а я бежал рядом и разглядывал кнопки и переключатели на задней панели. Было где-то часа четыре дня, и ярко светило солнце. Интересно, что вообще в моих воспоминаниях о детстве почему-то всегда светит солнце. Хорошо помню палисадник вокруг нашей пятиэтажки, заросший огромными разноцветными маргаритками, ноготками и какими-то ярко-желтыми шарами, казавшимися мне тогда гигантскими. Смутно помню какие-то заброшенные сады, оставшиеся от дачных участков и деревень, которые как раз тогда начал теснить город, футбольное поле на пустыре перед домом, на котором после дождя вырастали огромные белые грибы, со временем превращавшиеся в коричневые кожистые мешочки с «дымом» и носившие забавное название «дедушкин табак». Помню запах смородины, терпкий вкус китайских яблочек и незрелых слив... Да, странно это все. Ведь и в самом деле, не могло же тогда постоянно светить солнце!

Помню, как на следующий день после покупки телевизора к нам пришел мастер, и я подавал ему гвозди, когда он протягивал шнур для антенны. Телевизор потом долго работал. Теперь он стоит в квартире деда, если только не выбросили. Там у них много всякого старого хлама. Дед давно умер, и в квартире живет только его жена, мама отца (хотя и этого теперь наверняка я не знаю). Раньше они жили в домике за городом, особенно в последнее время. А их городская квартира обычно пустовала. Только потом, когда старый деревянный дом пошел на слом, отцовская мать перебралась сюда, в город, окончательно.

Перед смертью дед долго болел. У него был рак, и он знал, что скоро умрет. Правда, врачи ему не говорили об этом, но он догадался. За месяц до смерти он сделался вдруг как-то очень сентиментален. Часто ходил в лес с книжкой, иногда на весь день (когда его не мучили боли) уплывал куда-то на лодке, а потом построил беседку в саду, этакий «храм уединенного размышления», где часто по вечерам сидел. Я тогда любил бывать с ним, так как он мне делал свистульки из дерева и обещал меня этому научить. Не знаю, не люблю почему-то все это вспоминать. Неприятно. Может, фобия такая, связанная со смертью, а может потому, что совесть не на месте... Просто потом, уже много времени спустя (я учился классе в девятом) как-то раз в разговоре, а точнее, в перепалке с матерью, обозвал это слюнтяйством и толстовщиной. Потом

я и сам удивлялся, что это на меня нашло, но забыть не забыл. Мать меня, помню, поругала, но мне показалось, что она была довольна.

А тогда жить деду оставалось уже меньше месяца, и он, помню, мне все что-то говорил, говорил, а я сидел и старательно дул в свистульки. Под конец я на него разозлился и сказал, что он обещал меня научить делать свистульки, что мне скоро уезжать, а он до сих пор не выполнил обещанного.

На следующий день дед научил меня выстругивать свистульки, а кроме того, подарил маленькую детскую гармошку, которую еще через два дня я разломал, пытаюсь выяснить, как в ней получается звук.

Потом мы уехали. А месяц спустя бабка осталась одна, и мы помогли ей перевезти вещи на городскую квартиру.

Я у нее уже давно не был: она меня не узнает. И говорит какие-то странные вещи. Мать сказала тогда, что она больна и чтобы я к ней не ходил. Однако я приходил потом еще раза два, но двери никто не открыл, и похоже было на то, что в квартире никого не было.

Итак, как я уже говорил, отца я почти не помню, однако, по словам бабки, к которой в детстве меня регулярно сплавляли по воскресеньям, это был сущий ангел во плоти, которого испортила жена, то есть моя мать.

Мама говорила, что он пил. Хотя бабка, как-то в очередной раз ругаясь с ней, упомянула о каких-то письмах и фотографии, которые у нее якобы когда-то увидел отец. Насколько помню, мать ее тогда прервала и сказала, что не век же все помнить и что все уже давно быльем поросло. Мне показалось, что ей не понравились бабкины слова. Она вообще всегда бабку не любила, хотя теперь это, конечно, все равно.

Поле смерти отца я подолгу жил у бабушки, и мама навещала меня. Каждый день она бывать не могла – она говорила, что у нее много работы и что я уже взрослый и поэтому должен быть самостоятельным, а она должна работать, потому что ей надо содержать семью.

Об отце она не рассказывала и не любила, когда ее спрашивали об этом. А когда я спрашивал, говорила, что он пил. Помимо всего прочего, у меня был еще один источник, откуда я мог черпать сведения: к бабке часто заходил дядя Валера, друг отца, или как он себя по крайней мере называл. Он любил поболтать со старухой и вспомнить покойничка, его дружбу с ним. Посидев с полчаса, он, как правило, занимал у бабки трешку и уходил. Не знаю, отдавал ли он потом деньги или слово «взаймы» здесь было лишь условностью, но лично я ни разу не видел, чтобы он вернул хотя бы одну трешку из тех, что занимал. Заходил он где-то в среднем раз в неделю, обычно по субботам, а я его не любил. От него пахло спиртным, и еще он постоянно, пока рассказывал, шмыгал носом и, похлопывая меня по плечу, приговаривал: «Орел! Ну вылитый батя!». При этом он смотрел на меня и улыбался, а я все время чувствовал, что он ждет момента, когда бабка подберет и у нее можно будет стрельнуть трешку.

К отчиму я привык. И довольно скоро, как можно привыкнуть, скажем, к мебели. Мать вышла за него спустя полгода после смерти моего достойного родителя и чуть не молилась на этого хмыря. До сих пор удивляюсь, как ей удалось окрутить такого сноба. А впрочем, это ее дело. Он в министерстве какая-то важная шишка и только и делает, что разъезжает по границам. Мать заваливает всевозможным тряпьем и косметикой, которой та посвящает не менее трех часов в день. Она все еще хочет быть привлекательной.

Фамилию она, правда, оставила прежнюю, по первому мужу. Хотя мне на это глубоко наплевать. Я ей тогда так и сказал. У них свои дела, у меня – свои.

Единственное, за что ему можно сказать спасибо, так это за то, что не мешал и не лез в дела, его не касающиеся. Правда, держал себя всегда высокомерно и холодно, но, черт с ним, хоть не совался с нравоучениями и не читал проповедей, которыми, доучившись до восьмого класса, я уже был сыт по горло.

Помню как-то, когда как раз в восьмом классе и учился, я случайно услышал их разговор. В тот день я пришел раньше обычного: мы с ребятами собирались кутнуть, и до вечера предстояло раздобыть еще необходимую сумму.

И вот как раз в то время, когда я, стоя посередине гостиной, напряженно размышлял над тем, откуда бы мне ее достать, из спальни послышались голоса. Я не ожидал застать мать с отчимом дома и прислушался.

– И все-таки, Александр, ты чересчур с ним холоден, – донеслось оттуда. Если не дословно, то по крайней мере что-то в этом роде; я сейчас слабо помню и привожу поэтому только смысл.

Чтобы лучше слышать, я на цыпочках подошел к двери спальни. Она была приоткрыта, и я увидел мать, которая подводила перед зеркалом ресницы.

– С чего ты взяла? Я так не считаю, – кисло отозвался с кровати отчим, до того перелистывавший какой-то журнал и выказывавший явные признаки нетерпения. Он снова взглянул на часы. – Пупсик, мы опаздываем. (Кстати, меня всегда коробило от этих его уменьшительно-ласкательных словечек). Он вполне взрослый и самостоятельный человек для того, чтобы позаботиться о себе самому. Когда в жизни человек надеется только на себя, то добьется куда большего, чем при помощи любых друзей и покровителей. Но зато у него будет нечто большее – независимость. Ну скажи, мне кто-нибудь помогал?

– Это конечно. Но я не о том. Я просила бы тебя быть с ним чуть поласковее. У него сейчас трудный возраст. Ведь тебе же ничего не стоит изредка спросить, как у него дела в школе, или поинтересоваться тем, что он читает...

Я буквально чуть не умер от смеха. Ничего подобного от моей маман раньше я не слышал. Мне стало жутко интересно, откуда она набралась всей этой дешевой педагогической чепухи. Наверное, какую-нибудь брошюру прочитала. Но последующий разговор не внес в этот вопрос никакой ясности.

– Ну, хорошо, хорошо, – отмахнулся отчим, на чем беседа тогда, собственно, и закончилась.

Однако на следующий день за завтраком он вдруг неожиданно меня спросил:

– Послушай, тебе, наверное, нужны деньги на карманные расходы. Мало ли там на что.

Сказано это было ровным, бесстрастным голосом. Произнеся свой вопрос, он молча взял кружок лимона и окунул его в чай, после чего принялся мешать содержимое стакана, изредка позвякивая ложечкой о стекло. Я, помню, чуть не поперхнулся и только неопределенно pokrutil головой. Через некоторое время тот продолжил:

– Пятьдесят рублей, я думаю, на первых порах хватит.

Ошеломленный, я бессмысленно таранился на него, а тот, достав бумажник, хладнокровно отстегнул мне полста, которые я в ближайшие три дня благополучно прокутил с приятелями, поминая добрым словом моего приемного родителя. Потом я, правда, понял, что это была лишь демонстрация в ответ на вчерашний их разговор. Продолжения педагогической работы не последовало, на что я, честно говоря, очень надеялся. А скоро они уехали в Испанию.

Сейчас очень трудно писать обо всем этом, тем более когда стараешься уместить множество событий в сжатый объем.

Теперь уже вечер, и начало темнеть. Я сижу на кровати и пишу. Мой сосед ушел в следующую палату, и оттуда раздаются звуки голосов и смех. Один раз мне даже показалось, что я услышал женский голос. Ума не приложу, откуда она там взялась. Только что раздался очередной взрыв смеха, и я точно уловил женский голос. Он очень похож на голос медсестры, которая выговаривала мне за курение в палате. Очень может быть, что и она. Хотя кто знает.

Смех был дружным и громким, и вместе с тем в нем было что-то, что невозможно спутать ни с чем другим, подобным. Так смеются только в ответ на какую-нибудь пошлость, сальный анекдот или еще что-нибудь эдакое пикантное. От такого смеха меня всегда начинало мутить.

Помню, когда мне было двенадцать лет, к нам приехала сестра отчима со своим мужем. Эта тетя Вера была очень живая худенькая женщина, судя по всему, в семье привыкшая командовать. У нее была страсть всех поучать. Меня она с самого начала невзлюбила, так как когда она принялась спрашивать о школе, явно намереваясь битых полчаса разглагольствовать о пользе просвещения, я сказал, что мне с ней скучно и лучше я пойду погуляю. Матери она сказала, что я невоспитанный, избалованный ребенок и что из меня путного ничего не получится, потому что они неправильно со мной обращаются, и что если бы меня отдали ей на недельку, то я бы стал шелковым. Правда, дядя Володя мне понравился. Он был физик и тогда строил какой-то новый реактор. Но я не об этом.

Один раз я вошел в кухню и увидел, что все в сборе, к тому же в прекрасном настроении – смеются. Причем все смотрели на дядю Володю, который что-то жевал и причмокивал, делая вид, что ему очень вкусно. Перед ним я увидел большой пакет с маслинами. Спелые маслины казались мне всегда довольно противными на вкус. Я открыл рот от удивления, а они засмеялись еще громче. Тетя Вера, положив дяде Володе руку на плечо, сказала:

– Теперь ты их будешь есть часто.

– А разве это вкусно? – спросил я, и они все чуть не полопались от смеха.

– Полезно, – ответила тетя Вера и опять засмеялась.

– Вот, не становись физиком, а то тоже будешь есть маслины, – немного погодя сказал дядя Володя.

Я не стал больше ничего говорить. Если они считают меня за дурачка, то пусть. Я-то сразу понял, что дело здесь в сексе. Представляю, каково было дяде Володе делать вид, что ему тоже смешно. И есть маслины, чтобы не выглядеть дураком, когда вдруг во всеуслышанье объявляют, что ты импотент. Помню, я испытывал неодолимое желание вцепиться в крашеную шевелюру тети Веры и стукнуть ее обо что-нибудь носом. А они смеялись. Как сейчас те за стеной...

Но я увлекся.

Итак, отчим с матерью укатали в Испанию. Он вообще почему-то всегда таскал ее с собой. Вот и теперь он повез мать во Францию, хотя что ей там, в принципе, делать?

Перед этим та закатила ему отвратительный скандал, так как каким-то образом узнала, что у него роман с секретаршей, которую тот взял на работу месяца три назад. Честно говоря, я знал об этом, но лично ко мне это никакого отношения не имеет. Пусть хоть пять секретарш себе заводит. Мне на это наплевать. Я, как только это началось, собрался и ушел в кино. Смотрел совершенно бездарный фильм. Помню, актеры с экрана несли какую-то чушь. С серьезными лицами и блеском в глазах. В общем, полфильма они только на шпагах дерутся, точнее, он дерется за эту размалеванную куклу с сантиметровым слоем грима на лице и искусственными зубами, которых, по-моему, у нее было гораздо больше, чем положено. Рядом со мной какая-то дура весь сеанс обливалась слезами, а под конец, когда Он эффектно спас Ее из огромной черной каменной башни, та вообще чуть вся не изошла на слюни и сопли. Не знаю, как я всю эту бодягу до конца вытерпел. И ту, что на экране, и ту, что рядом. Хотя это, конечно, лучше, чем разбираться в чьих-то секретаршах. А в общем, все равно.

Когда я пришел домой после фильма, там уже никого не было. Наверное, укатали куда-нибудь гулять в знак примирения.

А узнал я об этой его, так сказать, служебной симпатии за месяц до того совершенно случайно.

Как-то раз, бредя мимо «Арагви», я наткнулся на машину отчима. Быть может, я бы и не обратил на нее внимания, если бы не талисман у зеркала – скелет с косою и в черной шляпе. Жуткая пошлость, конечно, вполне в стиле отчима, но мне эта незатейливая фигурка по какой-то причине понравилась. В свое время я мечтал выпросить ее, но так почему-то и

не исполнил своего намерения: противно было клянчить, а сам он, понятное дело, так и не догадался его мне отдать.

Времени было где-то часов восемь, и я заинтересовался, что отчим может делать в «Арагви» именно в восемь часов, тем более что мать дома. Еще до того, как войти внутрь, я уже наверняка знал, что он с женщиной, так как в машине на заднем сиденье я обнаружил дамскую сумочку, которую, очевидно, оставила его спутница. Томимый желанием взглянуть, с кем проводит время мой приемный родитель, и слабой надеждой на то, что хотя бы во взглядах на женщин у нас будет что-то общее, я переступил порог ресторана. Отмахнувшись от тут же подоспевшего швейцара и объяснив, что хочу лишь посмотреть, нет ли здесь моих знакомых, я встал у косяка двери, ведущей в зал.

Они сидели в дальнем углу, но мне было хорошо видно. Отчим был при параде и весь лоснился, как апельсин. Напротив сидела та, чью сумку я видел в машине. Откровенно говоря, я даже разочаровался: типичная манекенщица и накрашена так, будто собралась выступать в балете на льду или водить хороводы в ансамбле «Березка». Я даже лица ее не запомнил. Встречу – не узнаю. Помню только, что она была в очень короткой юбке и все выставляла напоказ свои ноги, хотя справедливости ради надо признать, выставлять там было что.

Я постоял еще немного, потом, отойдя от косяка, сказал швейцару, что, видимо, ошибся, так как их здесь нет.

Да, надо думать, поободрала она его, эта манекенщица из «Арагви». А последний месяц он вообще ходил какой-то заморенный. Кончилось все дело, как я уже говорил, скандалом, который разразился спустя полтора месяца после того, как я видел их вместе.

Потом, естественно, было примирение и совместная поездка к Елисейским полям, по коим они теперь, думается, благополучно и гуляют. И будут гулять в ближайшие полгода.

Денег мне оставили достаточно и обещали выслать потом еще, к чему я, кстати сказать, их вовсе не обязывал. У матери был такой тон, когда она говорила об этом, будто она ничуть не сомневалась, что я только и думаю, как бы выжать из них побольше денег. А может, мне показалось.

У матери вообще в последнее время «появились манеры». Или то, что она считала таковыми. Потомственная графиня, не меньше. Впрочем, сколько помню, она всегда стремилась попасть в «высший круг». Рассказы об интригах чиновников треста или сплетни о «закулисной» жизни районной администрации передавались ею взмахом, любая глупость, сказанная второразрядным артистом местной филармонии (который тем не менее уже пару раз успел засветиться на экране), а тем более глупость, сказанная при личном контакте, была последней истиной в инстанции. А уж дипкорпус, актеры первой величины, постоянно мелькающие на экране, казались ей и вовсе небожителями. «Вот это, я понимаю, жизнь! – заканчивала, как правило, она свои незатейливые рассказы, напоминающие даже не рассказы, а мечтания на кухне вслух. – А с вами что я вижу?» Последние слова, ясное дело, относились к бабке и ко мне.

Что ж, похоже, она поймала-таки свою золотую рыбку, вытянула счастливый билет.

На следующий день после их отбытия за пределы нашей необъятной я устроил у себя приличный сабантуй. Народу пришло достаточно, но отчего-то было нестерпимо скучно. Попытки внести в это настроение какие-либо изменения не увенчались успехом. Поначалу меня это угнетало, но потом как-то вдруг стало все равно. К тому же эта проблема впоследствии в прямой зависимости от количества выпитого отпала сама собой. Под конец я надрался и дальше уже ничего не помнил.

2

Лампа на столе горела всю ночь, наверное, забыл выключить. На улице густела тьма, и окна в домах не зажглись. Видимо, было где-то часа четыре утра. Очнулся я внезапно, будто от толчка. Во дворе выла собака. Вой был хриплым и срывающимся, как звук плохо натянутой струны. Гулко отдаваясь о стены домов, он разносился далеко в ночи.

Я лежал поверх одеяла в неудобной позе, и у меня затекла рука. В комнате было душно и слабо пахло табаком.

«Ночь», – машинально отметил я и резко сел на кровати, но тут же застыл, чтобы унять головокружение и подкатившую к горлу тошноту.

Сейчас что-то снилось, но что именно, я не мог вспомнить. Знал лишь, что это было что-то очень страшное и отвратительное. Настолько, что заставило меня проснуться. Некоторое время я неподвижно сидел на кровати – ждал, пока уляжется круговерть в голове. Наконец, с трудом поднявшись, прошел в ванную.

Свет лампочки, казавшейся слишком яркой, слепил. В глазах рябило.

Я сел на край ванны. Сердце, которое несло сумасшедшим галопом с того самого момента, когда я встал с постели, теперь, казалось, вздрагивало где-то в животе, с натугой отдаваясь четкими густыми ударами в барабанных перепонках.

В голове навязчиво ворочались безобразные обрывки предыдущего вечера. Какой-то тип с полуголой очкастой девицей в кресле, ерзанье и шепот на кровати в спальне, нестерпимый запах вермута (наверное, где-то разлили и забыли вытереть), душные и прокуренные до одурения комнаты...

Отчего-то перед глазами навязчиво вертелся серый пудель: кто-то из вчерашних гостей приперся с собакой, и зверюга надоедала всем до тех пор, пока кто-то не вышвырнул ее на лестничную клетку.

«Интересно, это не она выла во дворе?» – подумал я, но тут же понял, что это полный бред.

Чтобы избавиться от всех этих видений, я открыл кран и сунул голову под воду.

Внезапно мне начало казаться, что всего окружающего просто нет и то, что происходит, – лишь сон, что сейчас я проснусь, туман рассеется, и предметы приобретут наконец четкие, реальные контуры.

Пол ванной начал медленно наклоняться, и я подумал, что если Северный полюс – верх, то, находясь в Москве, я должен стоять на полу с уклоном примерно в сорок пять градусов, и, стало быть, все правильно. Усмехнувшись такому неожиданному умозаключению, и поняв, что «проснуться», очевидно, не удалось, я вошел в кухню и принялся пить воду из чайника.

За окном в черноте как-то лениво и равномерно падал снег, так что в конце концов, глядя на него, начинало казаться, что это не он летит, а ты воспаряешь вверх, в бархатистое темное небо...

В комнате по-прежнему царил беспорядок. Закутавшись в одеяло, я придвинул кресло к журнальному столику и сел. В пачке оставалось еще две сигареты, и я закурил.

Все предметы снова отодвинулись и сделались неестественно маленькими, как если бы кто-то вдруг перевернул перед тобой бинокль другой стороной.

Наверху, у соседей, раздавались голоса. Поочередно – мужской и женский. Опять ругались. Эти приглушенные, еле слышные звуки отчего-то раздражали. Я вспомнил, что несколько дней назад встретился с ним, соседом. Вид у него был тогда помятый и несчастный что ли. Небритый. Говорили, от него ушла жена. Значит, вернулась теперь, если ругаются. Даже ночью. Я с ним тогда нарочно не поздоровался. Не знаю почему, но прошел мимо, сделал вид, что не заметил. А он заметил и смотрел на меня. К тому же пристально как-то. Я даже разозлился.

Какого черта надо? И чего, спрашивается, пристал? Вообще-то, если честно, я его недолюбливал: взгляд у него постоянно виноватый, будто все время извиниться за что-то хочет. Нерешительный такой. Через это, наверное, и жена его пилит. Но все равно стало гадко, что тогда с ним не поздоровался.

Через некоторое время голоса смолкли, и воцарилась тишина. Будто голову ватой обложили. Или как если бы из-под стеклянного колпака выкачали воздух и пытались потом что-то сказать. Только ничего не выходит: не слышно. Опыт еще такой был. Под стеклянный колпак сажают мышь, засекают время и начинают смотреть, что получится. Помню, мы даже делали такой. Одна мышь задохнулась, а другая нет: мы к ней поставили цветок в горшке, поэтому она и выжила. Мы записали вывод в тетради, а ту, первую, потом выбросили в мусоропровод. Я выбросил, отняв ее у какого-то придурка, который ходил с ней, держа за хвост, и пугал девиц, суя им под нос.

Я подошел к окну. Снег в свете фонарей, казавшихся через оконное стекло звездами с длинными острыми лучами, отливал темно-синим и был неподвижен. Где-то вдалеке, в лабиринте домов, светилось два или три окна. Несколько раз оттуда, из темноты, делаясь то тише, то громче, доносился голос, горланящий песню. В небе, не мигая, застыли звезды, как брызги волн внезапно оледеневшего моря. Трещал оконным стеклом ветер, гоняя по небу клочья облаков.

Я почему-то вспомнил, как у деда в деревне жил паук. Такой здоровый черный паук. В чулане. Там почти всегда было темно. А паук сплел себе огромную паутину, на которой неподвижно висел, пока в его сеть не попадалась какая-нибудь добыча. Дед его время от времени подкармливал. Раз в неделю или две дед смахивал большую часть паутины веником, чтобы пауку было чем заниматься. И он снова плел, а в промежутках висел где-нибудь в самом темном углу и ждал, не изменится ли под лапами натяжение нитей, возвещая, что в сети попала добыча. Чулан был старый, и летом в нем было пыльно и душно. Осенью там всегда стояла сырость и пахло гнилыми досками. А паук все ткал паутину и висел, поджидая того, кто попадет в его сеть. Потому что пауки не чувствуют запаха. Им на это наплевать.

Мне было тогда шесть лет, и я страшно боялся этого паука. В чулане всегда было темно, и когда я не слушался, меня пугали, что запрут в чулан и паук съест меня. Один раз я видел, как он расправился с мухой, попавшей к нему в сеть. Мне тогда еще показалось, что он смотрит на меня. Я сказал об этом деду, но тот ответил, что этого не может быть, так как паук слепой, и что вообще все пауки слепые. Может быть.

Когда дед умер, бабка перебралась к нам, а дом снесли: очень уж он был старый.

На похороны меня не брали, так как боялись, что я испугаюсь покойника.

Помню после, когда в дом вдруг пришло много незнакомых людей. Они долго о чем-то говорили, потом ели и пили. Мать тогда сказала, что это поминки. Мне очень понравилось это слово: оно почему-то напоминало мне картофельное пюре, и я на разные лады повторял его.

Потом я вдруг вспомнил о пауке. Он был, конечно, в чулане.

Незаметно взяв со стола ломоть хлеба, я сполз со скамьи и, пробравшись среди частогокола ног под столом, пошел к чулану. Но чулан был закрыт.

Я посмотрел в замочную скважину – там была пустота.

«Слушай, – сказал я тогда ему, – не грусти. У нас поминки, и всем весело. Я тебе принес поесть. Пусть у тебя тоже будут поминки. Ты ведь меня не съешь, потому что я большой, а ты маленький, и я не помещусь у тебя в животе. Они это просто так говорили, чтобы я слушался... На, ешь...» – говорил я ему и, кроша хлеб, совал в замочную скважину...

Потом дом снесли. Мне было очень интересно, куда делся паук, и я несколько раз спрашивал маму об этом. Но она говорила, что ей некогда заниматься глупостями и что лучше бы я учил буквы и вообще готовился к поступлению в школу.

А о пауке я так ничего и не узнал. «Наверное, – решил я тогда, – он ушел туда, где много пауков. Таких же, как он. И теперь они все вместе плетут свои сети, и ему не так грустно и одиноко, как в чулане».

А от дома ничего не осталось. На его месте построили птицеферму.

Странно, почему именно это мне вдруг вспомнилось? Почему паук? Вот ведь тоже мерзость какая!

Я прислушался. В туалете тихо шумела вода, мерно отбивали ход времени часы.

Встав, я пошел в кухню, опять принялся пить воду из чайника.

Внезапно я понял, почему мне на ум пришел этот паук. Я вспомнил, что мне снилось. Вся картина вдруг снова отчетливо предстала передо мной.

Я сижу в кабаке. Самый настоящий притон. Свет режет глаза. Кругом дым и смрад. У сцены мельтешат какие-то разухабистые девицы с пышными формами, но почему-то без лиц. Хрипит музыка негром на саксофоне, шныряют подозрительные личности разного вида. Вокруг все жрут и пьют. Отовсюду лезут перекошенные смехом рожи, но отчего-то без звука. Один толстый перегнулся через стол и ну лапает безликую девицу. Той приятно, и она хихикает. Руки у него мягкие и липкие, а вместо головы я вдруг увидел какой-то неправдоподобно огромный губастый лоснящийся рот. Грудастые девки заводят вокруг него хороводы, тот хохочет и хлопает потными и липкими руками их по задницам.

В углу одиноко и страшно. Вдруг появляется этот потный с липкими руками, в которых держит поднос. Оказывается, официант. Он улыбается, потом ставит на стол огромную лохань с едой и уходит.

– Это мне? – кричу я ему вслед, но он только смеется.

Двери открыты. На улице идет дождь, а на пороге стоит Сосед. Он бледный и, как всегда, усталый. Наверное, от него снова ушла жена. Он подходит к столу, где сидит толстый и липкий с девками, и спрашивает:

– Вы не видели мою запонку?

Те в ответ раздражаются беззвучным гнусным смехом. Сосед опускается перед ними на четвереньки и начинает, ползая по грязному, заплеванному полу, искать запонку. Он плачет. Все на него подозрительно косятся и стараются как можно скорее съесть то, что стоит перед ними. Сосед, всхлипывая, медленно приближается ко мне.

Но нет! Меня не проведешь! Почему это именно я должен делиться с Соседом? Только лишь потому, что он мой сосед? Тут я замечаю, что Сосед как-то очень внимательно и пронизывающе смотрит на меня. Точно! Так я и знал! Я начинаю быстро набивать рот съестным из лоханки. В следующий момент Сосед вдруг куда-то исчез, и я услышал голос липкого:

– Пожалте-с в номер.

– Но я же еще не съел, – отвечаю я, но встаю и иду.

Коридор длинный и гулкий. В нем множество дверей, и я не знаю, какая из них моя. Я убыстряю шаг, а коридор все не кончается. Я перехожу на бег, мимо меня проносятся двери, и вдруг у меня возникает мысль, что это вообще не мой этаж. Какой же это этаж? Этого я тоже не знаю, потому что поднимался сюда на лифте... Но где-то наверняка есть выход! Только надо его найти.

Наконец я вбегаю в какую-то дверь.

Там темно и пахнет гнилыми досками. Впереди висит паутина, и в ней колыхнется что-то большое, черное и страшное. Паук! Тот самый, из чулана. Сзади раздается хихиканье. Я оборачиваюсь. В дверь, приоткрыв ее, просунулся толстый и липкий и злорадно хихикает. Боже! Как я сразу не догадался!

Дверь сзади захлопывается.

– Ты ведь не съешь меня, – начинаю говорить я пауку, вспоминая, что говорил тогда. – Не съешь...

Он медленно приближается и начинает увеличиваться в размерах.

– Ты маленький, а я большой... Я тебя не боюсь! – кричу я, цепенея от ужаса и чувствуя, что он об этом знает.

Паук начинает обвивать мое тело лохматыми лапами, потом раздражается хохотом того липкого, из кабака...

Я проснулся.

Да, все было так. Теперь я вспомнил. Главное – вспомнить. Вспомнить и понять до конца. Хотя, кто знает, возможно, да и нужно ли до конца все понимать.

Затушив сигарету, я лег в постель и через несколько минут погрузился в глубокий сон без сновидений, так ничем и не прервавшийся до утра.

3

Серый хмурый зимний день приближался к концу.

Сумерки медленно сгущались, окутывая темной пеленой небо, заляпанное, как страница в тетради школьника, черными кляксами туч. И хотя было довольно пасмурно, там, вверху, сквозь пока светлые облачные разрывы, уже начинали проглядывать холодные бледные звезды. Постепенно становясь все ярче, они как бы медленно прорастали среди продолжавшего темнеть неба, а Венера, этот первый гонец ночи, уже сияла над горизонтом во всем своем великолепии, то стыдливо прячась за черную траурную сеть облаков, то выглядывая из-за нее в перевозданной ослепительной наготе, так, впрочем, ни на что и не решаясь, будто тайная скорбь о ком-то не давала ей покоя. Вслед за ней появилось еще несколько царственных особ звездного мира, а потом, как изображение на фотографической бумаге, целыми россыпями стала возникать, суется и толкаясь, всевозможная звездная мелочь, образуя посреди неба целый шлейф призрачного серебристого света.

Где-то впереди, зажата между домами, болталась, будто выжатый лимон в стакане чая, обрюзгшая желтая луна. Ее диск был полным и ярким, а по его поверхности были разлиты серые пятна, что придавало ему чрезвычайное сходство с лицом больного оспой. Изредка на бока странного небесного цитруса, окутанного, словно одеялом, серебристым ореолом света, набегала неизвестно кем сотканная и пущенная по ветру серая паутина, и тогда казалось, что этот висящий на новогодней елке шар тоже движется. Как если бы дерево, спрятанное за домами, куда-то несли, выставив из-за крыш только его верхушку.

Хотя, когда облака рассеивались, очевидным становилось совершенно обратное. Круг луны неподвижно застыл в небе, будто головка сыра, величественно покоящаяся на плоском блюде крыш соседних домов. И постепенно среди опустившейся на все атмосфере мрачного безмолвия и бездействия создавалось ощущение, что чей-то чужой взгляд, брошенный сверху, рассеянно скользит по рассыпанному внизу натюрморту, до которого, впрочем, ни ему, ни кому-либо еще в этой вышине не было никакого дела.

Некоторое время спустя набегавшие облака вновь создавали иллюзию движения, и лицо больного оспой принималось гримасничать, будто стараясь унять нестерпимый зуд в болячках...

Внизу на много километров вокруг раскинулся город, который теперь, подобно гигантской утомленной рептилии, устраивался на ночлег, медленно начиная отдавать тепло, накопленное за день. С наступлением темноты все постепенно угасало, и в суете, обманчивом оживлении час пика уже слышалось сонное бормотание и размеренное дыхание всего огромного организма, расслабленные мышцы которого все еще по инерции продолжали подрагивать...

Над ним кружился бестолковый хоровод из звезд и облаков, приклеенный горловиной своей гигантской воронки к Полярной звезде. Как будто кому-то вдруг пришло в голову поболтать ложечкой в кофейной чашке.

Было холодно.

Я стоял у витрины магазина и разглядывал через стекло выставленный в ней манекен. Манекен был новый и блеснул не хуже, чем ботинки у него на ногах. Он был в костюме и шляпе, а спереди болтался ценник. Мне еще пришло в голову, что если бы манекен был живым, – ведь есть же за границей живые манекены, – то ему пришлось бы сейчас не сладко в костюмчике и летних штиблетах, надетых на тонкий носок.

Судя по всему, часы подходили к шести, и я вдруг вспомнил, что сегодня еще не обедал. В желудке было пусто и как-то противно. Приписав это результатам курения натошак, я выбросил сигарету и постарался вспомнить, где поблизости можно чего-нибудь перехватить. Однако в голове все путалось. Казалось, мысли затеяли игру в чехарду и теперь по очереди

перепрыгивают друг через друга, то замедляя темп скачки, то убыстряя его. Продолжая это крайне непонятное развлечение, они постепенно перескочили и вовсе на какой-то посторонний предмет, и я забыл, с чего начал.

Пластмассовый манекен по-прежнему глупо улыбался из витрины прохожим. Теперь я заметил, что глаза его были прорисованы слишком ярко, и от этого он казался подозрительно женоподобным.

Стоять становилось холодно, и, сказав сладким голоском «пока, мужчинка», я подмигнул манекену и двинулся вниз по улице.

Вскоре «Маяковская» осталась позади, затерявшись среди дороги огней и названий. Шел я медленно, и на меня то и дело наталкивались люди, куда-то, видимо, очень спешившие.

Мысли продолжали свою странную игру, а в последние минуты три-четыре в голове настойчиво звучал мотив слышанной когда-то песенки, неизвестно для чего теперь выплывшей из памяти. Всего две строчки, которые, как звук испортившейся шарманки, возобновлялись, едва дойдя до конца:

«Без меня тебе, любимый мой,
Земля мала, как остров,
Без меня тебе, любимый мой,
Лететь с одним крылом...»

Причем вместо «без меня тебе» получалось «без тебя мене», хотя так сказать, конечно, нельзя.

«Что это за „мене“ такое?» – наверное, в сотый раз подумал я и тут же поймал себя на том, что опять мысленно повторяю мотив, пытаюсь вместо этого чудовищного «мене» подставить то, что нужно.

Вскоре из-за домов показался бронзовый Пушкин, а немного позже и кинотеатр за ним. Рядом, из метро, как патока, пролитая на землю, толчками вытекала вязкая людская масса, влекомая тысячами ног неизвестно куда и зачем.

Дурацкая мелодия продолжала крутиться в голове. Попытки забить навязчивый обрывок куплета другими такими же обрывками ни к чему не привели, и, чтобы хоть как-то избавиться от него, я принялся перебирать в памяти эпизоды теперь уже завершающегося дня.

Надо признать, день прошел совершенно бездарно. Утро я провел слоняясь по квартире в поисках какого-нибудь занятия. С того времени, как мать с отчимом торжественно отбыли во Францию, минуло пять дней, и я постепенно обвыкся один в трехкомнатной квартире. Промаявшись бездельем часов до двух, я вдруг случайно отыскал свою старую записную книжку. Она была сильно потрепана и недосчитывала нескольких страничек. Открыв ее с самого начала, я принялся по алфавиту обзванивать знакомых девиц, тяготясь мыслью, что если хотя бы одна из них изъявит желание со мной встретиться, то придется куда-то ехать и в течение целого вечера валять перед ней дурака, тщетно потом сожалея о потраченном впустую времени. Однако большинства из них не было дома и дозвониться удалось только трем. Но и те собирались куда-то идти и говорили, изображая сожаление по этому поводу, что уже обещали и отказаться никак не могут.

Помню, мне все еще не давала покоя какая-то Левина Марина: я никак не мог вспомнить, кто это такая. Я даже набрал ее номер, но на другом конце провода никто не подходил. Дождавшись седьмого по счету гудка, я положил трубку.

Прослонявшись по квартире где-то еще полчаса, я оделся и вышел из дома. Морозный воздух немного освежил, и настроение как будто улучшилось.

Дойдя до метро, я спустился вниз и доехал до «Библиотеки». Где-то с час болтался на Арбате, потом зашел в «Букинист» и довольно долго проторчал там, изучая полки с литерату-

рой. Денег оставалось мало, и я, сам не зная зачем, купил вдруг какую-то совершенно идиотскую и ненужную мне книгу. Что-то об африканских цивилизациях южнее Сахары. Как будто действительно собирался их изучать.

Когда я вышел из магазина, уже начинало темнеть. Арбат с его фонариками поплыл перед глазами, создавая впечатление чего-то игрушечного и ненастоящего.

Книга мешала, и я то и дело переключал ее из одной руки в другую, пока не додумался сунуть за отворот пальто. С Арбата я добрался до «Маяковки», а потом и до «Пушкинской»...

Выскальзывающая из-за отворота книга вернула меня от воспоминаний к реальности. «И на кой черт я ее купил?» – наверное, в двадцатый раз подумал я.

Бесцельное шатание по городу порядком надоело. Близился вечер, холод ощутимо усилился, и стали мерзнуть ноги. Закутавшись поплотнее в воротник, как если бы это действительно могло чем-то помочь, я продолжил путь.

Постепенно народа становилось все больше. Час пик набирал силу. Вокруг в каком-то нелепом хороводе, будто маски на новогоднем карнавале, кружились люди. Фонари горели уже давно, и поэтому было не слишком заметно, как небо постепенно из серого сделалось черным, приобретая в то же время легкий красноватый оттенок.

Назойливый куплет снова всплыл откуда-то из глубин подсознания и заплясал на поверхности огромным бакенном, поворачиваясь в такт шагам то одной, то другой стороной, на первой из которых было огромными буквами начертано «тебе», а на второй – «мене».

Выбравшись из толпы, я сел на одну из скамеек в сквере.

Мотивчик вроде на некоторое время отстал, но вместо него вдруг появилась Левина Марина, и я, чтобы хоть как-то отделаться от этого неизвестно кому принадлежащего имени, принялся листать книгу, достав ее из-за отворота пальто.

Через некоторое время пошел снег, и пара белых крупинок тихо упала на страницу. Несколько секунд они лежали на пестрой фотографии, изображающей папуаса, охотящегося на зебр, потом растаяли, оставив после себя едва заметные темные пятна.

Я поднял голову. Снег был редкий, но, набирая силу, становился гуще, – до тех пор, пока не принялся сыпать крупными косматыми хлопьями. У вершин фонарей он вспыхивал снопом желтых искр, после чего, постепенно угасая, неторопливо опускался на землю. Снежная мгла заполнила все вокруг, смягчив, казалось, даже холодный колючий воздух своим невесомым прозрачным пухом. Звуки шагов торопливо идущих мимо прохожих стали тише, приглушенные упругим, точно поролон, ковром.

Внезапно я вспомнил манекен, и ощущение бутафорности всего окружающего на какое-то мгновение стало столь сильным, как если бы вокруг действительно были картонные декорации или рисунки.

Световое табло над крышей «Известий», призывавшее пользоваться услугами отделений связи, которые могут доставить письмо или ценный груз в любую точку земного шара, за снежной пеленой выглядело неясно, словно на него вдруг набросили белую сеть.

Справа, рядом со мной на лавке, сидели какие-то две девицы. Поначалу они некоторое время искоса поглядывали в мою сторону: я чувствовал это, хотя и избегал на них смотреть. Некоторое время их ужимки забавляли, но минут через пять начали ужасно раздражать: мысли отвлекались, и я не в состоянии был сосредоточиться. Как в метро, когда какой-нибудь незнакомый тип вдруг начинает через плечо заглядывать в книгу, которую ты читаешь.

Я выбросил окурок и принялся смотреть в другую сторону.

За памятником сплошной чередой электрических бликов по-прежнему мелькало шоссе.

Отчего-то вдруг сделалось стыдно того, что, учась классе в шестом, стащил у одноклассницы ручку. Причем стыд за это давно совершенное и столь же давно забытое преступление был таким, словно это случилось вчера.

Сквозь туманную ткань этого странного воспоминания постепенно опять пробился знакомый куплет с его «тебе-мене», беспрестанно повторяющимися двумя строчками и дурацким проигрышем. Я тогда еще подумал, что это хорошо, что нет такого аппарата, который записывал бы мысли людей, иначе всех пришлось бы упрятать в психушку или тюрьму.

Девушки справа вовсю дымили и оживленно болтали между собой. Прислушавшись, я разобрал обрывок фразы: «Вчера приглашали в „Метрополь“, у них денег навалом... дом на Кипре... яхта...» Дальше шло о каком-то Илье Ароновиче, но что именно, я не расслышал.

Слева сидела женщина лет тридцати и, судя по тому, что время от времени поглядывала на часы, кого-то ждала. Не знаю почему, но я хорошо запомнил, как она была одета: в короткое зимнее пальто синего цвета, голубую шерстяную юбку, а на ногах, несмотря на то, что вокруг лежал снег, были легкие осенние ботинки. Прямо перед собой на коленях она держала небольшую красную сумочку, ремешок которой не переставая тербила пальцами. «Свидание, наверное», – подумал я, и женщина, будто в подтверждение этих слов, вновь посмотрела на часы. Я не стал поворачивать головы и снова увидел только руки, которые, будто чего-то боясь, украдкой, отогнули рукав пальто. Я отвернулся: человеку, который так смотрит на часы, и без того кажется, что все взгляды непременно устремлены на него. К тому же я боялся, что, заметив мой повышенный интерес к собственной персоне, она пересядет, и я не увижу, кого она ждет. Время шло, но никто не появлялся.

Внезапно в сквере стало многолюдно.

В кинотеатре кончился сеанс, и из открывшихся дверей хлынул народ. В глазах зарябило. Холодный звенящий воздух наполнился гулом голосов и шарканьем ног по едва покрытому снегом асфальту. Я вдруг опять почувствовал досаду: мимо проходили люди, и сосредоточиться вновь не было никакой возможности.

Скоро последние зрители покинули кинотеатр, и опять в сквере стало спокойно. Настолько, насколько это может быть в час пик.

Снег, падавший до сих пор довольно часто, стал реже и мельче. Как если бы его кто-то специально просеял сквозь мелкое сито.

Обернувшись, я увидел, что девушки исчезли, оставив после себя на лавке смятую пачку из-под длинных сигарет с ментолом.

Холод становился все ощутимее, и я почувствовал, что мороз постепенно начинает пощипывать мочки ушей.

Над «Известиями» по световому табло поплыли цепочки слов, передавая последние новости. Табло было черным и сливалось с уже совершенно потемневшим небом, поэтому казалось, что слова возникают как бы из пустоты и, пройдя положенное им расстояние, снова проваливаются неизвестно куда.

Какие-то рабочие открыли новую буровую, на Ближнем Востоке все бушевали беспорядки, США вновь наложили на кого-то санкции, с успехом прошли гастроли нашего ансамбля в Испании, в германском зоопарке родился гиппопотам, что еще раз подтверждало возможность размножения этих животных в неволе. Погода завтра ожидалась хорошая: 9-12 градусов мороза, без осадков, ветер северо-западный, 1–3 метра в секунду.

Потом табло на некоторое время погасло, а чуть позже пошла реклама.

Повернув голову влево, я увидел, что женщина по-прежнему сидит на том же месте. Все было как несколько минут назад.

Откровенно говоря, я тогда уже совершенно потерял надежду, что увижу, кого она ждет, и интерес к ней у меня почти пропал. Однако по инерции я продолжал наблюдать. Помню, я еще подумал, что она очень недурна собой и что у того малого, которого она вот уже минут сорок как ждет, губа не дура. Тут я увидел, что женщина открыла сумочку и достала оттуда зажигалку. Сигарету она вынула раньше, очевидно, тогда, когда я смотрел на табло. Руки у нее заметно дрожали, и зажигалка ни за что не хотела включаться. Наконец показался колышу-

щийся конус пламени, и когда огонь, поднесенный на мгновение к кончику сигареты, осветил ее лицо, я вдруг увидел, что она плачет. В следующий момент огонек погас, и слез снова не стало видно.

Я отвернулся. Внезапно мне сделалось стыдно ее слез: будто я через щель между занавесками или в замочную скважину подсмотрел то, что меня совсем не касалось. Я уже хотел пересесть, но женщина встала и направилась к метро. Посмотрев ей вслед, я вдруг увидел, что она беременна, и смутно почувствовал к ней нечто вроде отвращения. Романтическая влюбленная на поверку оказалась просто брошенной бабой. Скоро синее пальто совершенно затерялось в толпе, и я остался один.

Какой-то парень, подошедший со стороны кинотеатра, уселся на лавку рядом со мной. Открыв дипломат, он извлек оттуда журнал «Химия и жизнь» и пакетик жареного картофеля. С шумом вскрыв пакет, парень громко захрустел, поглощая один за другим жареные ломтики, в то же время другой рукой стараясь что-то отыскать в журнале.

Сидеть на лавке становилось холодно.

Встав, я медленно побрел по скверу. Торопиться было некуда, да и незачем.

Вокруг опять засуетились в нелепом и немом хороводе люди, быстро и однообразно сменяя друг друга, как кадры на киноплёнке.

Выйдя из сквера на улицу, я отправился в сторону «Маяковки», то есть туда, откуда полтора часа назад пришел.

Отчего-то было досадно.

Надо сказать, что на протяжении всего того времени, которое я теперь описываю, меня до самой последней минуты не покидало ощущение какого-то тягостного ожидания. Будто вот-вот должно было что-то произойти, а что именно, я и сам не знал толком. В университет я не ходил уже с неделю, и, вполне вероятно, причиной подобного состояния было именно то пугающе-захватывающее чувство полной свободы, которое совершенно внезапно мной овладело. Ощущение пустоты, ненужности и незанятости сменилось уверенностью в приближении чего-то неизбежного и вместе с тем важного. Хотя, вполне вероятно, что подобные выводы я делаю лишь сейчас, задним числом. Впрочем, опять это может лишь казаться и опять-таки именно сейчас. В любом случае, я не могу думать так, как думал тогда. События изменяют людей, и то «я», что было, к примеру, вчера, уже совершенно не то, что сегодня. А завтра оно изменится еще больше, не говоря уж о том, что будет через неделю. Поэтому я думаю, а стало быть и пишу в любом случае уже не то, что думал или писал бы тогда, если бы мне вдруг пришла в голову фантазия заняться подобным делом.

Путаница какая-то. А в общем, это не так важно.

Подробности следующего часа моих скитаний по улицам я позабыл. Помню только, что пристал к какой-то рыжей девице знакомиться, а та выпендривалась и корчила из себя кинозвезду, делая вид, что ей неприятны или в лучшем случае безразличны мои домогательства, хотя при этом она не только не пыталась уйти, но, напротив, довольно долго шла со мной вместе, так что у меня даже создалось впечатление, что ей было совсем не в ту сторону. Под конец она сказала, что она замужем, на что я ей возразил, что она, должно быть, совсем недавно замужем, так как все еще вставляет это в разговор, когда ее об этом не спрашивают. На это она обиделась и телефона не дала, хотя, может, и сделала бы это, поупрашивай я ее подольше. К тому времени она мне уже порядком надоела, и я вдруг, сам хорошенько не зная зачем, обозвал ее дурой и крашеной выдрой. Потом сказал, что пусть она не выпендривается, будто все это ей неприятно, даже будь она трижды замужем. А если это действительно так, то почему она не уходит, а разыгрывает из себя утомленную мужским вниманием примадонну.

В ответ она мне, когда я уже уходил, прокричала какую-то совершенную гадость, с чем, собственно, мы и расстались. Как сказал классик, бессмысленно и беспощадно.

Надо сказать, у меня был один приятель, который очень любил проделывать подобные эксперименты. Что-то вроде хобби имел такого. Имя его было Алексей, или, как звали у нас его все между собой для краткости – Алекс. Учился он в Щепкинском, а подобные сценки почему-то именовал «расколами». Причем, по-моему, это было его любимое занятие, так как мастерства в нем он достиг неимоверного. Я же участвовал в его экспериментах постольку поскольку ему была необходима аудитория. К тому же мне постоянно в спорах, которые неизбежно на этот предмет возникали, приходилось исполнять роль оппонента, так что под конец мной овладевал даже какой-то азарт: а что если на этот раз не получится? Хотя, должен признаться, мне ни разу не посчастливилось присутствовать при том, чтобы Алекс засыпался. Как-то раз он мне даже прочитал нечто вроде лекции по этому поводу, несмотря на которую я так до сих пор и не понял, каким образом люди могли попадаться на такую наглую и совершенно откровенную ложь. Алекс говорил что-то об инерции мышления и что человек начинает анализировать, думать, только тогда, когда видит какое-то несоответствие. Если его нет, мыслительный аппарат работает вполнакала, а то и совсем отключается, как бы переходит на «автопилот». И вот если ты сам не дашь это несоответствие, то все будет нормально. Собеседник твой благополучно «проспит» и поверит даже в то, что ты – папа Римский, очутившийся в Москве по случаю, пролетом из Рима в Ватикан.

Не знаю, может так оно и есть, а может и нет.

Мне во время своих экспериментов Алекс всегда говорил, чтобы я особо не встревал, так как у меня «глаза смеются» и, соответственно, поэтому ничего не выйдет. «Даже старик Станиславский сказал бы свое банальное „не верю“», – добавлял он и округлял глаза так, что в следующий момент они переставали вообще что-либо выражать.

Помню, один раз в метро он, подсев к какой-то девице лет двадцати трех, сидевшей напротив, принялся на ухо ей что-то горячо нашептывать. На лице той выразилось удивление, но потом она вдруг заулыбалась и начала почему-то лукаво поглядывать в мою сторону. Подобные выходки Алекса меня всегда раздражали, поэтому я делал вид, что мне на это наплевать, и смотрел в другую сторону. Позже выяснилось, что он сумел убедить ее, что я глухонемой араб, сын арабского же миллионера, а он, то бишь Алекс, мой поводырь и переводчик, что она мне якобы очень понравилась и что я хочу с ней познакомиться и пригласить с собой на дипломатический вечер. Через две остановки они действительно подошли «знакомиться», и мне не оставалось ничего другого, как с кислой миной разыгрывать роль глухонемого араба. Алекс переводил с русского на «глухонемой арабский», причем делал иногда настолько неприличные жесты, что после каждого из них я ждал неминуемого разоблачения. Однако девица хихикала, заискивала и маслянисто строила мне глазки, а когда Алекс, сказав, что оставил визитки в кармане смокинга, накорябал на клочке бумаги наш гостиничный номер телефона, та выпрыгнула из вагона, сияя, как новенький пятак, заверив, что позвонит сегодня же.

В другой раз он пристал к какой-то женщине лет тридцати пяти, долго говорил с ней о величии искусства, выдавая себя за скульптора, пока она клятвенно не заверила его, что будет ездить к нему тайком от мужа и позировать обнаженной.

Одного мужика он заставил дать целое интервью какому-то турецкому листку, корреспондентом которого представился и название которого выдумал там же, на ходу.

Были еще две девицы, которых Алекс совершенно жутко напугал, пригласив в кафе, и одной из них во время танца ляпнув (строго так), что мы из контрразведки и следим за типом, который сидит за соседним столиком. Через два стола в другую сторону сидел какой-то грузин, и Алекс сказал, что сегодня его будут брать, так как он тоже связан с тем типом. А когда в конце он предложил девкам подвезти их на машине, которая вот-вот должна подойти, те так искренне стали отнекиваться и говорить, что им совсем недалеко и что они лучше пешком дойдут, что мне пришлось выйти якобы в туалет, а не то я бы точно лопнул от хохота.

И так далее, все в том же духе.

Хотя, надо сказать, временами он мне смертельно надоедал, и я буквально доходил до бешенства, когда Алекс снова и снова приставал к людям. Однако вида я не показывал, так как, с одной стороны, это было бы просто глупо, а с другой – я совсем не хотел оказаться в числе его жертв. Один раз я дал возможность вырваться неудовольствию наружу. Алексу это, видимо, показалось забавным, и следующей жертве он представил меня как заядлого гомосексуалиста, имеющего плюс ко всему еще и садистские наклонности. Я тогда ушел, и мы долго после этого не встречались.

Несколько раз я сам пробовал проводить подобные эксперименты. Помню, мы с одним парнем прикинулись иностранцами, а так как я изучал английский, а он немецкий, то так и общались: я ему говорил фразу на английском, а он отвечал мне на немецком. Дело происходило в автобусе, была вторая половина дня, и народу набилось достаточно. У окна сидела какая-то симпатичная дура, и мы принялись громко нести тарабарщину, указывая на нее пальцами. Люди вокруг оживились и как-то даже снисходительно заулыбались: «Иностранцы». Дура у окна покраснела, и тут я увидел, что одна из ее рук медленно наползла на другую. Вначале я не понял, но потом увидел, что она закрыла обручальное кольцо.

Как-то раз Алекс сказал мне, что вообще среди всех человеческих чувств нет ни одного, которое было бы сильнее желания заставить других плясать под свою дудку. Особенно посторонних. В том-то вся и соль. Только у одних это получается, а у других нет. «Здесь нужно иметь!» – Алекс выразительно постучал себя пальцем по лбу и пояснил, что, мол, для успешного завершения дела необходимо правильно нащупать ту мелодию, под которую этот человек непременно должен будет плясать. Отгадать ее. А тогда не зевай и жми вовсю на клавиши своего кларнета (то, что он сказал «кларнет», я точно запомнил) – и послушные марионетки будут выдывать, что ты захочешь.

Надо сказать, что Алекс, – и этого я никак не могу понять, – мог как-то безошибочно угадывать тот ключ, в котором нужно было вести разговор с тем или иным человеком. С одной он, например, говорил об НЛО и гипнозе и развивал какие-то чудовищные космогонические теории, так что вполне можно было поверить, что перед вами шизофреник, только что сбежавший из психбольницы, другой врал об искусстве, третью осаждал рассказами об извращенцах и т. д.

Помню, однажды мы зашли в кафе. Просто посидеть и поболтать. Народу было не так много: дело было днем, однако за соседним столиком сидели две какие-то, как выразился Алекс, «мочалки». Однако, как ни странно, подсаживаться и приставать к ним он не стал. Мы заказали кофе с мороженым и принялись вести пространный разговор. После нескольких не слишком гладких переходов разговор свелся к тому, к чему сводился всегда. Споря, я даже вошел в азарт. Алекс, кажется, тоже разошелся, и тогда он вдруг предложил подсесть к тем двум и представиться иностранцами. Я на это ему возразил, что они сидят от нас не так далеко и наверняка слышали обрывки разговора, так что его затея заведомо обречена на провал. Он усмехнулся и предложил поспорить. «На три щелчка, как Поп с Балдой», – сказал он и, таким образом щегольнув знанием русской классики, подсел к девицам.

Разговор тут же завязался. По выражению лиц «мочалок» я видел, что они догадались, однако игру приняли и, казалось, даже с интересом слушали глупую болтовню Алексея, выдаваемую им по-русски довольно бегло, но с изрядной долей «иностранного» акцента.

Девицы явно издевались и довольно-таки ехидно переглядывались.

Алексей, как будто ничего не замечая, продолжал нести чушь.

Видя, что их ужимки не производят запланированного впечатления, «мочалки» принялись задавать вопросы. И вот на одном-то из них и произошло самое удивительное.

Девица, улыбаясь, спросила:

– Ну и где же вы живете?

На что Алекс вдруг совершенно неожиданно ляпнул:

– Где? Здесь.

– Как здесь? – удивилась та, сбита с толка.

– Ну, здесь, в Москва, – глядя ей в глаза непонимающим взглядом, сказал Алекс. – Я плохо говорить по-русски? Мы студенты.

Почему вдруг после этого они действительно поверили, что мы иностранцы, я не понимаю до сих пор. В продолжение последующего разговора Алекс, очевидно, чтобы рассеять последнюю тень недоверия, раза два прерывал собеседниц на каком-нибудь совершенно банальном слове и просил повторить его, если им не трудно, а то он не понял. Те с удовольствием это делали. Позже, спустя несколько дней, на вопрос, почему так все произошло, Алекс сказал, что просто они очень хотели верить, что мы иностранцы, – и поверили. А он всего лишь заставил их захотеть. Вначале то, что они так глупо попались, меня ужасно разозлило, и на какой-то вопрос одной из них, обращенный прямо ко мне, я угрюмо буркнул: «Ай спик рашн бэд», после чего неоднократно об этом жалел, так как «переводчик», к помощи которого теперь приходилось прибегать, совершенно безбожно перевирал и коверкал смысл моих фраз. Что касается проигранного мной пари, то все три щелчка я получил тогда же. Перед тем, как всыпать мне первый из них, Алекс что-то нашептал девицам, и те заулыбались, а он щелкнул меня пальцем по лбу. Девицы принялись хихикать, и одна из них погрозила мне пальцем. Потирая лоб, я глупо ухмыльнулся в ответ. Позже я выяснил все же, что он им сказал. А сказал он им следующее: будто я вчера пришел домой в третьем часу ночи и не убрал комнату, хотя была моя очередь, и теперь он мне должен отбить сто щелчков, так как щелчки у нас являются мерой дисциплинарного взыскания. «Ведь это очень по-русски, да?» – спрашивал Алекс «мочалок» и с идиотской пытливостью в глазах ждал ответа.

После третьего щелчка «мочалки» стали умолять Алекса пощадить меня, на что он милостиво согласился.

В конце мы от них сбежали, так как они требовали адреса или телефона. Да и надоели они очень. Сбежали мы от них возле Петровского пассажа и, миновав подземный переход, сели в такси. Шоферу, видимо, было лет пятьдесят, а когда Алекс, будто по инерции, продолжая говорить с акцентом и вкраплением английских фраз, стал объяснять ему, куда нужно ехать, тот, подняв руку и сомкнув большой и указательный палец в виде «нолика», сказал «о'кей!», что в переводе, видимо, означало: «Будь спокоен, уж мы-то свое дело знаем не хуже, чем там у вас».

После этого у меня отчего-то испортилось настроение, и я даже сказал Алексу что-то грубое, на что тот не обратил никакого внимания, думая, или, по крайней мере, делая вид, что думает о чем-то своем. Это меня разозлило еще больше, и я вылез из такси.

С Алексом мы не виделись уже месяца два. Да, откровенно говоря, не очень-то и хотелось. У меня после его экспериментов всегда на душе оставался какой-то мутный осадок, но что это были не угрызения совести, я знал наверняка...

Эпизод с рыжей девицей тоже не способствовал улучшению моего настроения, которое и без того было неважным.

Дойдя до Калининского, я некоторое время постоял перед световым табло с рекламой, потом хотел было зайти в «Дом книги», но вспомнив, что он уже, должно быть, закрыт, повернул в обратную сторону.

Подул ветер, сметая с крыш колкие крупинки снега.

Внезапно я снова почувствовал голод и в очередной раз вспомнил, что с утра ничего не ел. Поблизости было кафе, и я зашел. Позже я много думал над тем, почему завернул тогда именно в то кафе, и что было бы, если бы я туда не пошел. Скорее всего, ничего не было бы. Или было, но что-то другое. Хотя кто знает.

Стеклянные двери от толчка открылись, и улица, отраженная в них, качнувшись, ушла в сторону. Я вошел. Видимо, здесь недавно был ремонт, так как все еще слабо пахло краской.

Холл был довольно просторным. По бокам висели большие зеркала, около которых я увидел несколько охорашивающихся девиц. Стены из известковых плит, оформленные под мрамор, еще недостаточно пообтерлись и создавали впечатление чего-то торжественного и недвижимого. Как новый стол в кабинете у нотариуса.

Чуть дальше дверей начинался ковер темно-красного цвета, местами сильно потертый и вылинявший, чем весьма неприятно контрастировал с новой отделкой.

Слева была лестница, ведущая на второй этаж. Под ней располагались, как и положено, туалеты.

Швейцар принял мою одежду, и я поднялся на второй этаж, думая о том, что у меня всего наберется рублей десять, не больше. Дома денег тоже не было, и я вдруг из какого-то непонятного чувства противоречия решил сейчас же, сегодня, истратить все до копейки. От сознания принятого решения настроение улучшилось, и я осмотрелся.

Несмотря на будний день, народу здесь насчитывалось достаточно. Атмосфера была душевной, многие курили прямо за столиками. Вентиляция, судя по всему, не работала. Музыка, смешиваясь с гулом голосов, создавала общий шумовой фон, а неяркий красноватый свет – общую размытость очертаний и какую-то аморфность движений. Несколько пар в середине танцевали.

Я занял место в углу, вдалеке от эстрады.

Официант два раза прошел мимо, но так и не соизволил остановиться. Тогда я сам подошел к нему и заказал бифштекс и фужер шампанского. Тот даже не посмотрел в мою сторону, но при этом, ручаясь, все прекрасно слышал.

Я сел на место и от нечего делать принялся изучать меню. Вскоре мне это надоело, и я стал осматриваться по сторонам. Тоже ничего интересного. Только недалеко, через два столика, сидела какая-то довольно симпатичная блондинка и меланхолично помешивала соломинкой льдинки в коктейле. На вид ей было лет двадцать. Я принялся машинально подыскивать, кем было бы лучше ей представиться, если подойти знакомиться. Хотя делать этого и не собирался. Просто было приятно сидеть и думать об этом.

Она сидела ко мне боком, и я не отрываясь смотрел на нее, наверняка зная, что боковым зрением она видит это и что рано или поздно посмотрит в мою сторону. Так, невзначай, повернет голову, скользнет по мне рассеянным взглядом и повернется дальше, чтобы показать, что обращивалась не на меня.

Так все и произошло. Я чуть не рассмеялся: настолько томными были ее поза и вид. Похоже было на то, что на ней нет лифчика, и она не переставая думает об этом. Я представил, как она прямо-таки обмирает от одной мысли, что ее шупают взгляды близлежащих мужчин. Это немного развеселило.

Официант принес шампанского, и я отпил глоток. Было тихо.

Внезапно сзади кто-то начал о чем-то громко разглагольствовать. Я обернулся. Витийствовал худой, изогнутый знаком вопроса тип в желтых штанах и прыщом у основания носа. Типичный задрот. Рядом сидели две девицы и некий мрачный субъект с насупленными бровями. Прошло минут пять. Задрот не умолкал и начинал действовать на нервы.

Я опять посмотрел на блондинку. Та продолжала искоса наблюдать за происходящим вокруг. Как стрекоза – почти на 360 градусов. Я уставился на нее. И опять получилось: она обернулась, однако радости, как в прошлый раз, мне это не доставило. Она мне вдруг кого-то напомнила, но я никак не мог понять кого.

Я опять отпил из бокала. Шампанское было дрянное. Кислое. Правда, его качество в какой-то мере компенсировало то, что оно было холодным.

Блондинка определенно чем-то напоминала кошку. Это пришло как-то внезапно, сразу. Кошка. Жестами, манерой, самими повадками. Даже будто в самой внешности было что-то кошачье. Я попытался развить эту мысль в интимном ключе, но потом не стал.

Задрот сзади наконец умолк и пошел танцевать с одной из девиц, так что его согнутая фигура в желтых брюках теперь маячила где-то возле эстрады.

Блондинка по-прежнему гоняла льдинки соломинкой в коктейле, и я снова стал смотреть. Она обернулась, сделала гримасу и, закатив глаза, повернулась в противоположную сторону. Это значило «надоел».

Я вспомнил о кошке, и мне стало противно. Тем более как именно будет происходить дальнейшая игра, я знал с точностью до десятой доли процента.

Мне принесли бифштекс, и я принялся за еду. Было скучно.

Внезапно я понял, кого именно мне напомнила блондинка. Не кошку, нет. Я вспомнил, как в девятом классе в первый раз имел дело с женщиной. В ней тогда тоже было что-то кошачье, и это меня тогда еще как-то неприятно поразило. Что-то животное было во всем этом: и в том, как она кричала и как царапала ногтями мне грудь, в прерывистом дыхании и судорожных движениях гибкого тела. Помню, мне еще тогда в голову лезли какие-то совершенно посторонние мысли, и я старался отогнать их, чтобы сосредоточиться на текущем моменте. Однако сделать этого почти не удавалось, и ничего кроме разочарования и недоумения я в результате не испытал. Позже мы встречались еще несколько раз, но в конце концов все прекратилось: она была замужем, и я постоянно боялся, что муж нас застукает. Вспоминать это было неприятно, и я решил переключиться на что-нибудь другое.

Блондинка сидела все в той же позе. Постепенно меня начало раздражать то, что она следит за мной краем глаза, и я пересел на другой стул, очутившись по отношению к ней в профиль.

Доев бифштекс и, таким образом, почти исчерпав свой червонец, я достал сигареты и закурил.

О том, что я буду делать дальше, я не имел никакого представления, и мысли об этом тщательно отгонял в сторону, стараясь думать о чем-нибудь постороннем.

Я представил свою близость с блондинкой – отчего-то вдруг это нарисовалось очень отчетливо – и, почувствовав омерзение, снова впал в мрачное расположение духа.

Подняв глаза, я зачем-то принялся отыскивать взглядом типа в желтых брюках, но он куда-то пропал вместе с девицей, с которой до того танцевал. На минуту мне показалось, что в толпе я увидел кого-то из знакомых, но потом, сколько ни вглядывался в полумрак, не смог найти его вновь. Наверное, показалось.

Я встал и, пройдя между столиками, спустился на первый этаж. Там был телефон, и я принялся набирать номер той самой Левиной Марины из записной книжки. Наушник был, видимо, не совсем исправен, так как когда я нажимал кнопки, в нем начинало что-то трещать. Я набрал номер, и на другом конце провода раздались гудки. Сквозь них пробивался, словно издалека, чей-то разговор. Гудки следовали один за другим, но никто не подходил. После седьмого гудка я повесил трубку.

Поднявшись наверх, я увидел официанта, который был явно обеспокоен моим отсутствием. Он спросил, буду ли я чего-нибудь заказывать, а когда услышал, что нет, предложил рассчитаться.

Расплатившись, я встал и направился к выходу. Настроение у меня испортилось еще больше, и я решил уже было совсем ехать домой, но как раз тут случилось то, что положило начало тем событиям, которые имели для меня столь важные последствия.

А дело было вот в чем. Пробираясь к выходу, я внезапно увидел за одним из стоявших недалеко столиков то самое знакомое лицо, которое высматривал в толпе минутами десятью раньше.

Это был некто Чернецкий, с которым я был когда-то хорошо знаком и с которым не виделся где-то полгода. Сидел он ко мне вполоборота, но я его сразу узнал. На нем был светлый

костюм и бежевый галстук с полосой. Из кармана торчал уголок носового платка, и я еще подумал, чего это он так вырядился.

Познакомился я с ним случайно где-то год назад, а точнее – месяцев десять. Я тогда сильно нуждался в деньгах, так как мать отказалась давать мне ссуды из-за какого-то (уж не помню, какого именно) пустяка, а к отчиму я бы никогда не пошел, хотя и у матери просить тоже было довольно противно. Я подрядился на рынок грузчиком (у матери, я думал, будет инфаркт, но потом как-то обошлось), где и познакомился с Чернецким, который учился в «меде» и тут, как он сам выражался, «подхалтуривал».

Роста он был высокого, несмотря на фамилию – белобрыс, черты лица имел тонкие, может быть даже чересчур, однако это, видимо, нравилось слабому полу, чем Чернецкий, надо отметить, всю пользовался.

Что мне всегда в нем казалось удивительным, так это что среди окружавших его людей он всегда был за своего, несмотря даже на большую разницу в годах. Так и с классическими грузчиками, при одном упоминании о которых мою маман начинала бить нервная дрожь, он был совершенно на равных, что, например, абсолютно не удавалось мне. Это, безусловно, меня в определенном смысле задевало, и я однажды даже специально пару дней следил за Чернецким, чтобы понять, что он делает такого особенного. Ничего, однако, сверхъестественного я не заметил, на чем, собственно, и закончил свои наблюдения. Один приятель мне как-то раз по этому поводу сказал, что это просто у людей природная солидность, и в этом все дело. Не то чтобы солидность в том смысле, что живот большой или что постоянно в галстук ходит, совсем в другом, хотя, по-моему, и не в этом здесь дело.

Довольно долго мы с Чернецким, работая бок о бок, не были знакомы вовсе, то есть до того, что даже ни разу не заговаривали друг с другом. Чернецкий не изъявлял желаний или, по крайней мере, делал вид, что не желает более близкого знакомства, а навязываться я не хотел, хотя этого-то он, быть может, и добивался.

Потом как-то вдруг, безо всякого внешнего видимого повода, мы познакомились ближе и даже говорили кое о чем, но по большей части несерьезно, хотя что Чернецкий умен, чувствовалось сразу.

Однажды, это было примерно через месяц после того, как я начал работу, произошел случай, который сблизил нас еще больше.

Дело в том, что на рынке, кроме нашей бригады, или, как ее все между собой величали, «гоп-компании», была еще одна, так сказать, «официальная» бригада грузчиков. Мужики там были здоровые, аппетиты имели хорошие и работали только по-крупному. С мелочевкой они не связывались, щедро оставляя ее нам. Мы, со своей стороны, в их дела не влезали, и мирное сосуществование кое-как удавалось. Однако в этот раз все произошло по-другому.

Во время перерыва ко мне подкатил какой-то мужичонка колхозного вида и предложил разгрузить машину. Все члены нашей «гоп-компании» отправились обедать, и я, как единственный наличествующий представитель трудового коллектива, пошел смотреть груз. Машина оказалась огромной фурой с прицепом, весь объем которых занимали ящики с яблоками, помидорами и прочими дарами природы. Фуры, как крупный заказ, находились полностью в компетенции «официальной» команды, и я принялся что-то в нерешительности мямлить о разделении сфер влияния и прочей дребедени. Но ушлый колхозник так горячо убеждал меня, будто никого из той команды не нашел, а машину надо разгрузить как можно скорее, что я согласился. Мужичонка тут же испарился, а буквально через десять минут я увидел, что ко мне приближаются ребята из «официальной» бригады. Лица их отнюдь не выражали доброжелательности. Как и следовало ожидать, колхозник попросту решил сэкономить, наняв более дешевую рабочую силу. Разговор начался на повышенных тонах, а я вместо того, чтобы объяснить ситуацию, принял воинственный вид и начал всю огрызаться – то есть повел себя как типичный зеленый пацан, допустивший оплошность. Мужики долго разглагольствовать

не собирались и, окружив меня, недвусмысленно стали сжимать кольцо. И когда, казалось, до первого удара оставались считанные секунды, в круге вдруг возник Чернецкий.

– Че не поделили, мужики? – гаркнул он что было силы. – Не это? – и он выдернул из кармана бутылку портвейна. – Беру в долю. Заодно расскажете, из-за чего, собственно, сырбор.

К моему величайшему изумлению, мужики расступились, и через несколько минут все они, живописно расположившись на ящиках, уже вполне соборно употребляли бормотуху. Поначалу у грузчиков еще наблюдались некоторые реликты агрессии, но у Чернецкого был настолько добродушно-понимающий вид, что скоро от бывшей напряженности не осталось и следа. В конечном итоге они даже «отдали» фуру нам, но при условии, что мы заплатим им по тройку с носа. «Для порядку, – объяснил самый старший из них. – А порядок должен быть во всем», – и он небрежно потрепал меня по плечу.

После разгрузки фуры и расчетов с официальной командой мы с Чернецким пошли пить пиво. Я угощал, так как за спасение чести, достоинства, а заодно и здоровья с меня определенно причиталось.

Стояла жара. У пивного ларька было не очень много народа, и, пристроившись на скамейке поблизости, мы воздали должное ячменному напитку, который на удивление даже разбавлен сегодня был в меру.

Чернецкий распространялся о каких-то своих знакомых девках, рассказывая крайне забавные истории из их незатейливой жизни. Я вовсю смеялся, настроение было благостное.

После третьей кружки я решил.

– Слушай, как тебе удастся находить с ними со всеми общий язык? Это что, талант какой-то? – задал я вопрос в лоб.

Чернецкий немного подумал, отхлебнул пива. Вопреки ожиданиям, к вопросу он отнесся серьезно.

– Никакого таланта нет, – ответил он наконец. – Отвечать на твой глупый вопрос я не буду, а лучше расскажу байку. На старой квартире, я тогда учился в школе, у нас был сосед. Суровый мужик. Отмотал в лагерях чуть ли не двадцать лет еще тогда, – Чернецкий неопределенно махнул кружкой, – при культе и этом... пролеткульте. Бог знает, за что его упекли. Да я этим как-то и не интересовался. Короче, его вся округа боялась. Шпана местная трепетала и заискивала. И самое удивительное заключалось в том, что он для этого ровным счетом ничего не делал. На первый взгляд. На первый в том смысле, что потасовок ни с кем не устраивал, ножами и пистолетами никого не стращал. А меня тогда трое каких-то ублюдков доставали. Нашли, как это часто бывает, козла отпущения, поле для, так сказать, самоутверждения. Просто страшное дело, буквально проходу не давали. Так вот однажды, после очередной унижительной сцены, соседка, светлая ему память, во дворе мирно покуривал на лавке, а я, соответственно, весь в слезах и соплях проходил мимо. Соседка в повседневной жизни словоохотливостью не отличался, но несмотря на это вдруг заговорил. Да еще со мной. А сказал он дословно следующее: «Запомни, малявка. Ты пока не человек. А чтобы стать человеком, надо не только заявить всему миру об этом, но потом еще и завоевать право так называться. Для этого твердо запомни три „не“ – не бойся, не надейся, не проси. Не бойся делать то, что считаешь нужным и правильным, не надейся на то, что все как-нибудь само утрясется или за тебя необходимое сделает кто-то другой. И никогда ни перед кем не унижайся, ни у кого ничего не проси – ни денег, ни прощенья, ни пощады. Тогда, может и станешь человеком, а не соплей». Из всей этой тирады я тогда, дай бог, понял половину. Но кое-что, судя по всему, до меня дошло, так как на следующий день, когда три подонка опять появились, чтобы издеваться надо мной, я схватил обрезок валявшейся поблизости трубы и, не думая о последствиях, измолотил их так, что двое убежали без оглядки, а третьего со сломанными ребрами увезли в больницу. А мне ничего не было. Милиция что-то выясняла, но потом все спустили на тормозах. Знаешь,

какое невиданное до той поры чувство свободы я испытал? Естественно летал, а не ходил где-то недели две...

– А потом?

– Потом было потом. Привык, наверное.

– Что же, выходит, мне надо было этим грузчикам трубой ребра переломать?

– Зачем? Как говаривал мой бывший сосед, волк попусту зубами не лязгает. Это только шавка брешет без повода. К тому же ты был не прав, а? Оттого-то и полез на рожон. – Чернецкий благостно улыбнулся. – Знаешь, у блатных есть понятие, это мне тоже дядя Саша рассказал, только позже, – «быть в законе». И самое забавное состоит в том, что это вовсе не значит чтить какой-то там дурацкий кодекс. Кодекс чести или, к примеру, уголовный. Настоящий человек всегда сам себе закон, а значит есть только один критерий – верность самому себе. Настоящий человек готов в любой момент выйти против всего мира. Один, как волк. А в этой жизни, как говаривал дядя Саша, все люди либо волки, либо бараны...

Чернецкий говорил легко и полушутливо, отчего его слова странным образом обретали еще большую убедительность.

– Получается, сильному все позволено? – счел я своим долгом возразить. – И он может делать все, что захочет, с остальными?

Чернецкий посмотрел на меня и внезапно весело усмехнулся.

– Страх и гарантии как раз и есть удел рабов. Достоевщина. Они не могут понять, что хищник не питается падалью. Участь барана – и без того достаточно суровое наказание. К тому же там, – он показал кружкой вверх, – у коршуна или сокола много всяких других занятий, более интересных, чем изучение жизни муравьев.

– Тебе не нравится Достоевский? – неприязненно поинтересовался я.

– Дело не в «нравится» или «не нравится». Просто он писал о другом, – Чернецкий помолчал. – Он думал, что пишет о сильном человеке, а в то же время ни малейшего понятия не имел о том, что это такое.

Чернецкий допил пиво и опять принялся болтать о девках, но у меня еще долго не выходил из головы этот разговор. Непонятным образом он касался тем, что волновали меня тогда, хотя ни к лагерям, ни к уголовной тематике вообще я никогда не испытывал ни малейшего интереса.

Занимали меня тогда совсем иные вопросы. В то время я не на шутку увлекся Достоевским, так что, упомянув всуе имя великого классика в разговоре со мной, Чернецкий попал, как говорится, в десятку (что меня, скажем прямо, несколько задело). «Положительно-прекрасная личность» в виде князя Мышкина или Алеши Карамазова была не слишком мне понятна и близка. Их образы все же казались мне немного надуманными и нереальными. Юродство и самоуничтожение тоже как-то коробили меня. Но мятущиеся, разрывающиеся в лихорадочном поиске добра и зла образы Раскольникова, Ставрогина и Ивана Карамазова будоражили мое воображение и затрагивали какие-то очень важные, очень личные струны моей души. Я даже раздобыл полное собрание сочинений Достоевского, выменяв его едва ли не на всего макулатурного Дюма, и в гордом уединении (не считая самого Федора Михайловича) предавался мыслям о мировом устройстве, «слезе ребенка», «тварях дрожащих» и «право имеющих». Я, помню, даже прихватил пару томов с собой на летнюю практику, когда нас всем классом отправили в колхоз бороться с урожаем. И пока все остальные, спасаясь от полуденной жары, плескались в реке и заигрывали с девчонками, я в демонстративно-мрачном одиночестве сидел на берегу в обнимку с толстой книжицей и с высокомерным сожалением поглядывал на непрошенных сверстников. Порой этот странный, истерично-напряженный мир захватывал меня настолько, что я пытался действовать в соответствии с теми правилами, которые существовали в нем. Помню, один раз мне позвонили две знакомые, славившиеся своим веселым и отнюдь не монашеским поведением. Они и раньше пытались завязывать со мной «хи-хи» и «ха-ха»,

но я смотрел на них эдаким Чайльд Гарольдом, давая понять, что все «хиханьки» и «хаханьки» для меня пройденный этап. В этот раз они меня пригласили к себе. Судя по смеху и музыке, доносившимся из трубки, скучно там не было. Я отвечал односложно, но в конечном итоге согласился. Ибо решил им помочь выбраться из пучины разврата и вообще «открыть глаза». Личным примером. Проникнувшись столь мессианскими намерениями и порядком «войдя в образ» по дороге, я приперся к ним и весь вечер с видом страдающего за правду великомученика торчал за столом. Трезвый и неразговорчивый. Кругом царили веселье и юношеская удаль. Я же взирал на это с видом католического священника, волею судеб оказавшегося в борделе.

По правде сказать, одна из девиц мне нравилась. Станным образом именно в силу этой причины мое нравственное начало взмыло и вовсе на недостижимую высоту. Что уж я тогда от нее хотел, не знаю. То ли, чтобы она расплакалась у меня на плече, раскаявшись в своих прошлых грехах, как Соня Мармеладова, или чтобы побросала в огонь презренный металл, предложенный ей в обмен на бессмертную душу, как Настасья Филипповна, – бог весть.

В конечном итоге, выражаясь кратко, на меня все плюнули, и я остался за столом один. Девочек в это время клеили какие-то два парня, что, надо признать, им неплохо удавалось. Постепенно все разбрелись по комнатам, а «моя» уехала к одному из этих хмырей «в гости».

Вернулся я домой злой и подавленный. До утра, помню, вымучивал какие-то идиотские стихи, писал, как Ленский перед дуэлью, «темно и вяло», пока не заснул там же, за столом.

После этого Достоевского я не брал в руки примерно с месяц. Правда, это вовсе не означало, что я разочаровался в его идеях или усомнился в его значимости как философа и писателя. Просто я понял, что нельзя прочитанное воспринимать буквально, так сказать, реалистично. Осознав, что это все же в большей степени некие метафоры, овеществленные стороны одной личности, а не конкретные персонажи, взятые из жизни, я занялся вопросом более основательно. Проштудировав критическую литературу и даже выпросив на ночь у кого-то из знакомых «Миросозерцание Достоевского» Бердяева, я сделался едва ли не спецом в этой области. Я даже начал говорить всем, что пишу статью по вопросам творчества Достоевского (я ее и вправду начал, намереваясь впоследствии отослать в какой-нибудь солидный толстый журнал). На большинство моих знакомых-интеллектуалов, а также особ женского пола, это производило впечатление, и я был нимало удивлен, услышав мнение, которое не походило ни на что, услышанное или прочитанное мной ранее. При этом мнение не было ни глупым, ни необычным. Оно было просто несообразным. Не сообразным абсолютно ни с чем. Но оно было цельным. Это чувствовалось сразу.

Не подав вида, что фраза, брошенная вскользь Чернецким, меня задела за живое, я решил при случае более подробно поговорить на эту тему, так сказать, с пристрастием, с профессиональным интересом.

Но ожидания не оправдались. Мое знакомство с Чернецким не получило развития, так как он скоро из грузчиков «уволился», и мы больше не виделись.

Теперь как раз его я и увидел в кафе за столиком. Рядом с ним сидела какая-то довольно смазливая и нахально держащая себя девица. Одетая она была в брюки и светлый джемпер с полосой на груди, что довольно комично сочеталось с галстуком Чернецкого, который был почти аналогичной расцветки. Волосы у нее были собраны сбоку в хвост, который, когда она делала движение головой, начинал болтаться из стороны в сторону. Она что-то говорила Чернецкому, хотя тот явно не слушал, а тянул из бокала коктейль и думал, видимо, о чем-то своем. На физиономии его застыла какая-то довольно раздражительная, впрочем, едва заметная, гримаса, как у человека, который на чем-то хочет сосредоточиться, а ему мешают это сделать.

Не знаю почему, но я обрадовался. Трудно сказать сейчас, чему именно я тогда обрадовался больше: тому, что встретил знакомого, или появившейся возможности хоть как-то занять остаток вечера. Немного поколебавшись, я направился к столику. На полпути у меня вдруг

появилась мысль, что я тут буду, видимо, совсем некстати, и чем ближе я подходил, тем сильнее становилась неловкость и чувство страха за то, что я сейчас буду навязываться. Постепенно я пришел к решению, что подходить вовсе не следует, но спустя еще несколько секунд остановился на промежуточном варианте – подойти, но при первом же признаке того, что мое присутствие тяготит, распрощаться и уйти.

Я подошел и поздоровался. Некоторое время было тихо, потом Чернецкий, видимо, наконец отвлекшись от своих дум, поднял глаза и остановил на мне непонимающий взгляд.

– Здравствуйте, – растягивая слоги, произнес он.

На мгновение в его лице появилось что-то похожее на сомнение, хотя, может, мне это только показалось. Но то, что он меня бесспорно узнал, а теперь лишь прикидывается, я знал наверняка, так как когда он поднял на меня свой взгляд, тот был уже непонимающим, а ведь до того как меня увидеть, Чернецкий явно не мог знать, кто стоит перед ним. Это доказывает, что узнал он меня еще по голосу, а к тому времени, когда повернул голову, уже решил меня не узнавать.

Внезапно это все меня разозлило. Я уже проклинал себя за то, что вздумал подойти и поставил себя тем самым в дурацкое положение.

Я хотел повернуться и уйти, но тут встретился взглядом с девицей, и решение мое изменилось. В ее взгляде было столько раздражения и неприязни, что я решил во что бы то ни стало остаться.

Я сел на стул и, стараясь вести себя как можно развязнее, представился. Далее напомнил, где мы могли встречаться и т. д.

Чернецкий запрокинул голову и, прикрыв глаза, стал делать вид, что вспоминает, а девица отчетливо произнесла: «Очень приятно». Мне определенно показалось, что Чернецкий покосился на нее, хотя и не могу сказать наверняка, какое выражение было у него в это время в глазах. Повернувшись ко мне, он промычал что-то неопределенное и уставился все тем же непонимающим взглядом. Воцарилось неловкое молчание. Машинально я взял со стола салфетку и теперь вертел ее в руке. Сцена явно затягивалась. Все это начинало меня бесить, особенно девица с ее вызывающим видом. Опустив глаза и заметив, что в салфетке образовалась дыра, я положил ее обратно.

Я хотел было уже встать, но тут девица, видимо, желая поторопить меня, спросила: «Вы хотели что-то сказать?» Это окончательно вывело меня из себя.

– Да, – сказал я, – именно вам, – я остановился и сглотнул: в горле отчего-то вдруг сделалось сухо. – Знаете, тот, кто сказал, что этот хвост вам идет, солгал. Сие украшение делает вас похожей на маленькую злую лошадку, которая, однако, стоит ее только хорошенько втянуть хлыстом, тут же покорно принимается за работу. Причем одного раза, как правило, бывает недостаточно. Это нужно делать периодически. Как... как лекарство... – я начал задыхаться и остановился.

Отчего я тогда сказал именно это, я не знаю до сих пор. К тому же мысль о хвосте, а тем более в форме такой откровенной грубости, мне до самого последнего мгновения не приходила в голову.

Девица вспыхнула, однако, вовремя спохватившись, бесстрастно спросила: «А какое отношение, простите, мой хвост имеет к вам?»

Чернецкий же все это время беззвучно смеялся, хотя, как ни странно, это на меня тогда не произвело никакого впечатления. Мне было просто нестерпимо стыдно. Что это он вдруг так развеселился, я не знал, да и, откровенно говоря, мне тогда на это было решительно наплевать. Раздражение достигло своего предела. Я поднялся со стула.

– Я, видимо, не вовремя подошел и поэтому прошу извинить... – сказал я, запинаясь.

Но тут Чернецкий замахал рукой и, не переставая смеяться, почти прокричал:

– А ведь я вспомнил. Точно вспомнил. Еще в самом начале, а теперь так, дурака валял. Вот просто ее позлить хотел... – и он показал на девушку.

Хотя слова эти и были сказаны, видимо, в шутку, за ними скрывалась доля истины: уж очень он делано смеялся. По всей вероятности, Чернецкий был чем-то сильно раздражен.

Девушка повернулась к нему.

– Тебе не кажется, что эти все твои психологические опыты сейчас не вовремя?

Он вдруг прекратил смеяться.

– Отчего же?

– Я думаю, достаточно уже этого! – и она обвела взглядом зал.

– Нет, отчего же? Может быть, именно это как раз и вовремя. Кто это определил? – удивленно произнес Чернецкий. – Садись, – добавил он, обращаясь ко мне. – Не обращай внимания. Ерунда.

Что он имел в виду, говоря «ерунда», я не понял. То ли свое притворство, то ли выступления девушки, то ли и то и другое вместе – не знаю.

Я сел. Торопиться мне было некуда, да и этой, с хвостом, тоже хотелось хоть как-то отомстить.

Некоторое время Чернецкий пристально разглядывал меня в упор, так, что мне стало и впрямь как-то не по себе, потом опять рассмеялся.

Натянутость не проходила, и после обычных, традиционных фраз типа «Ну, как живешь?», «Как учишься?» и «Ну, как вообще?» опять воцарилось молчание. Вопросы были пустыми, ничего не значащими. Однако мы довольно долго мусолили этот нудный разговор, как если бы в нем заключался какой-то особый, аллегорический смысл. Наконец я иссяк. За мной замолчал и Чернецкий. Тишина опустилась сверху, как старое ватное одеяло.

Чувствовал я себя с каждой минутой все более и более неуютно, хотя вида старался не показывать.

Девушка явно бойкотировала не только меня, но и Чернецкого и зло манипулировала в бокале соломинкой. Чернецкий же, казалось, не обращал на нее ни малейшего внимания.

Спектакль этот, где подтекста было явно больше, чем самого текста, мне был совсем не по душе, и чем дольше все продолжалось, тем более дурацкой представлялась ситуация. Она должна была неизбежно как-то разрешиться, и мысль о том, что это непременно будет скандал, последние минуты не покидала меня.

Однако на самом деле все оказалось гораздо проще.

Около столика, будто черт из коробки, внезапно возник кавказской внешности тип и попросил разрешения пригласить девушку на танец. Та поднялась с места и, даже не оглянувшись, пошла с ним к эстраде.

Чернецкий как-то странно усмехнулся и сделал приличный глоток из бокала.

– Нехорошо получилось как-то, – после некоторой паузы сказал я.

Чернецкий поднял бровь:

– Да? Чем же?

– Мне показалось, что она была против моего присутствия.

– Разумеется, – Чернецкий опять сделал глоток из бокала. – Все просто. Ей важно навязать мне свою волю и прибрать к рукам, а мне, соответственно, – сохранить то, что ей сохранять совершенно ни к чему. Шарик налево, шарик направо – всего лишь. С чего ты взял, что это нехорошо?

Я не нашелся, что ответить, и промолчал.

– Если разобраться, – продолжал Чернецкий, – может оказаться, что ее вообще возле меня держит только самолюбие. Как игрока, который все время проигрывает, но тешит себя надеждой на то, что рано или поздно отыграется.

Он помолчал. Я сел поудобней и положил руки на стол. Сделал я это некстати, так как вышло, будто я перебил Чернецкого. Я смутился и посмотрел на него. Тот усмехнулся и продолжил:

– А ведь стоит ей один раз одержать верх, только один, так она, пожалуй, еще и презирать меня вздумает, – и Чернецкий зачем-то покрутил рукой в воздухе.

– Что ж, по-моему самолюбие – достоинство, а не недостаток, – сказал я, понимая, что должен что-то сказать.

– Не в том дело. Вот например. В детстве, я помню, играл в одну забавную игру. Ловишь улитку, кладешь на руку. Она, конечно, спрячется, вся уйдет в раковину, а ты стоишь и говоришь: «Улитка, улитка, высунь рожки! Улитка, улитка, высунь рожки!» Она их выпустит, но только ты дотронешься до них, как они тотчас уходят обратно. Приходится повторять все снова. Мы даже соревнования устраивали, у кого улитка быстрее рога выпустит. Очень интересно.

Чернецкий достал из пачки, лежащей на столе, сигарету и закурил. Глубоко затянувшись, он пустил белесую струйку дыма вверх.

– А однажды я попробовал ничего не говорить, а улитка все равно выпустила рога. Я помню, очень расстроился, но потом решил, что слова здесь и впрямь не нужны. Может, она делает это просто из самолюбия. Кто знает...

Голос Чернецкого постепенно становился все тише и тише, и я, улучшив момент, обернулся, чтобы посмотреть, где находилась его спутница. Однако в толпе танцующих я ее не нашел и вновь повернулся к Чернецкому.

– Я все это, собственно, к чему? – казалось, Чернецкий не смотрит в мою сторону. – Не о ней же в конце концов... Просто самое лучшее – не лезть во все эти дела... Тем более что тебя они совершенно не касаются. Я это не к тому, что, мол, не твое дело. Просто не обращай внимания – вот и все.

Чернецкий остановился. Надо сказать, во все время этой речи с лица у него не сходила какая-то в высшей степени странная полуусмешка, так что я начал было уже подозревать, что она вовсе и не относится к тому, о чем он говорил. И вообще, на протяжении всего нашего разговора, до самого его конца (я потом много думал об этом), меня не оставляло чувство, что Чернецкий больше говорит сам с собой, чем обращаясь ко мне. Казалось, он произносил какой-то странный монолог. И даже не монолог, а часть его, начинающуюся откуда-то с середины. Понять что-либо до конца было сложно. Однако я был рад встрече. Может, если бы я понимал тогда, что кроется подо всей этой игрой, я бы и отнесся к происходящему по-иному.

– Н-да, – продолжил между тем Чернецкий. – Как написал один очень умный тип, нет ничего нового под солнцем, все суeta и томление духа. На что другой, правда много позже, возразил: мол-де все в мире относительно, так что вы очень уж не расстраивайтесь...

Я посмотрел на пальцы Чернецкого, несколько нервно барабанившие по краю фужера. Перехватив мой взгляд, Чернецкий усмехнулся и отставил фужер в сторону.

«Интересно, что у него на уме? – подумал я. – Прямо детектив какой-то...»

Однако ирония не помогла. Во мне неодолимо боролись два желания: с одной стороны – желание встать и уйти, таким образом блюдя приличия и не усугубляя конфликт между Чернецким и девицей, с другой – желание остаться и выяснить, в чем тут дело. В конце концов я прибегнул к приему, к которому обращался довольно часто, а именно – вообразить, что все происходящее – некая игра, где мне отведена вполне определенная роль, а роль эдакого Штирлица в данном случае мне весьма импонировала.

Танец кончился, девица вернулась и заняла свое место. Вид у нее был все такой же надменный. Чернецкий сидел ссутулившись, думая о чем-то своем. Девица что-то сказала, и он очнулся. Официант принес коктейль, и Чернецкий как бы даже повеселел, словно радуясь тому, что смог избавиться на какое-то время от тяготивших его мыслей. Покосившись на

девицу и отпив глоток из бокала, он вдруг сказал, что теперь пришло время поговорить об искусстве, потому что «когда встречаются интеллигентные люди и нужна тема для беседы, они всегда говорят об искусстве».

– Для того оно по большей части и существует, – добавил Чернецкий и опять усмехнулся.

Очень кратко и предельно ясно отозвавшись о современной живописи (живопись и скульптура, несомненно, умерли), он вдруг ни с того ни с сего спросил, как мне нравится Чюрленис. Я сказал, что мало его знаю, так как видел только репродукции, да и то в очень посредственном альбоме.

– А вообще мне он нравится, – закончил я.

Чернецкий покосился на девицу.

– А тебе нравится Чюрленис? – спросил он ее.

Та посмотрела на него и после некоторой паузы спросила:

– А кто это?

– Монгольский художник эпохи Возрождения, – быстро и небрежно ответил Чернецкий, и если бы я не знал, кто такой Чюрленис, то наверняка принял бы его слова за чистую монету. Внезапно я вспомнил об Алексее и подумал, что Чернецкий сделал точь-в-точь как он.

Девушка вновь пожала плечами и принялась за коктейль. Видно было, что она тоже на взводе, но все же старается не подавать вида. До конца я так и не понял, действительно она не знала, кто такой Чюрленис, или это была тоже какая-то игра.

– Зря. Зря, что только по посредственному альбому, – продолжил Чернецкий речь в своей странной манере, не обращая ни к кому. – Мне в свое время очень понравилось. Этаким гением болезненного воображения. Полное подчинение формы идее, парение в, так сказать, надоблачных сферах. У меня тогда даже мысль возникла, что это какой-то особый вид богоборчества. Создание собственного мира. И солнце такое... Какое-то исступленно-яркое, неживое. Волчье... Как где-нибудь в стратосфере... – постепенно Чернецкий впадал в состояние наигранной эйфории. На лице появилась улыбка, взгляд уперся куда-то в стену.

– У меня тогда еще появилась идея, что все гении были сумасшедшими. Не ново, конечно, но тем не менее забавно, верно? Ведь обыкновенный человек такого никогда не создаст. По определению. Для этого нужна такая колоссальная заикленность на чем-то одном, что вряд ли нормальный человек выдержит. Я еще, помню, что-то вроде повести о художнике писать стал. Об очень одиноком и очень гениальном. Повесть изобиловала психологическими сентенциями низкого пошиба, как учебник по психологии для вечерних отделений филологических факультетов. Короче, дрянь, и я ее сжег. И вовсе не потому, что там, например, Гоголь жег свои «Мертвые души», а чисто из нежелания, чтобы кто-нибудь, пусть и случайно, прочел всю эту ахинею. Правда, потом месяца полтора я скорбел по этому поводу (хотя, черт его знает, тем, кому читал, нравилось, а некоторым даже очень). Но не в этом дело. Жаль только тему. А тема была хорошая...

Чернецкий прикрыл глаза и посмотрел на потолок.

– Подумай только, все гении – уроды, шизики, а если точнее – мутанты, которые в природе, как явление противоестественное, обречены на гибель. Но самое главное – шкала ценностей. Что считать нормальным? Средний уровень, то есть животный, с его всеобъемлющим стремлением к выживанию, или уродство, болезнь, возвышающую человека до уровня Творца и неминуемо ведущую к саморазрушению?

Чернецкий на минуту остановился, потом рассмеялся, однако вышло это у него как-то неубедительно. По-моему, он просто валял дурака.

– Что-то по-моему я сегодня слишком много говорю. Хотя что тут такого? Люди должны общаться. Это снимает напряжение и вследствие упомянутого смягчает нравы. Да и настроение у меня сегодня к тому располагает. Так что давайте беседовать! Вы не против? Так на чем я остановился? Ах, да! Если болезнь – норма, то что же тогда болезнь?

– Хватит!

Девушка зло смотрела на Чернецкого. Она была в бешенстве.

– Почему хватит? Почему это хватит? Интересно ведь. К тому же у меня сегодня праздник. Верно? Ведь праздник сегодня? – обратился Чернецкий к девушке и, не дожидаясь ответа, сказал: – Праздник. И я имею полное право на хорошее настроение. Верно? – спросил он теперь уже у меня.

Я кивнул.

– Ну вот, что я говорил? Итак, на чем мы остановились?

Обстановка накалялась, и я чувствовал себя все более неудобно. Едва заметная усмешка, не сходящая с лица Чернецкого все это время, стала более явной, как если бы теперь он хотел показать, будто не воспринимает всерьез того, что говорил минуту назад.

– Забавно, а ведь, пожалуй, стоит только объявить во всеуслышанье, по телевизору, например, что все гении – шизики, а все шизики, соответственно, – гении, так на следующий день от них отбоя не будет в больницах и прочих местах скопления творческого элемента. К тому же это очень просто – быть гением. Достаточно лишь не быть таким, как все. Если все делают одно, надо непременно делать другое. Все рисуют медведей на дереве и девочек с персиками или там с какими-нибудь пейсиками, а ты – бац! – «черный квадрат»! Что такое? Кто такой? Все в недоумении и смятении. А ты им опять – бац! – взял пару полотеров, налил краски на холст – и родилась «композиция № 7» или там какая-нибудь восемь с половиной!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.